

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Морис Дрюон

ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ
УЗНИЦА ШАТО-ГАЙАРА
ЯД И КОРОНА

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Морис Дрюон

**Проклятые короли:
Железный король. Узница
Шато-Гайара. Яд и корона**

«Азбука-Аттикус»

1955, 1956

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Дрюон М.

Проклятые короли: Железный король. Узница Шато-Гайара.
Яд и корона / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус», 1955,
1956 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22865-8

«Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» – бросает из пламени костра Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле в лицо королю Франции Филиппу IV Красивому. Это огненное пророчество сбудется: с 1314 года более полувека короли будут сменять друг друга на троне, но никто не задержится надолго. Дворцовые интриги, внезапные смерти, династические перевороты и кровавые войны будут сопровождать это мрачное шествие проклятых королей. Создавая свой цикл о невероятной эпохе, которая определила будущее прекрасной Франции, Морис Дрюон кропотливо работал в Национальном архиве, исследуя древние документы. «Проклятые короли», эта уникальная серия грандиозных исторических фресок, впоследствии вдохновляла Джорджа Р. Р. Мартина, большого поклонника Дрюона, при работе над «Песнью льда и пламени». В первых трех романах цикла невестки короля обвинены в неверности, умирает один король, затем другой, мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают государственную казну, в стране голод. Личное соперничество, придворные козни, неизбежная в политике грязь – или, может, все эти удары судьбы и в самом деле лишь последствия проклятия?.. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-22865-8

© Дрюон М., 1955, 1956

© Азбука-Аттикус, 1955, 1956

Содержание

Железный король	7
Пролог	7
Часть первая. Проклятие	8
Глава I. Королева, не знающая любви	8
Глава II. Узники Тампля	17
Глава III. Невестки короля	24
Глава IV. Когда собор Парижской Богоматери был еще белым	32
Глава V. Маргарита Бургундская, королева Наварры	36
Глава VI. Как происходил Королевский совет	42
Глава VII. Башня любви	48
Глава VIII. «Призову на суд Божий»	52
Глава IX. Ночные грабители	56
Часть вторая. Принцессы-прелюбодейки	61
Глава I. Банк Толомеи	61
Глава II. Путешествие в Лондон	68
Глава III. В Вестминстере	73
Глава IV. Заемное письмо	76
Глава V. На Нофльской дороге	84
Глава VI. На Клермонской дороге	90
Глава VII. По отцу и дочка	93
Глава VIII. Маго, графиня Бургундская	98
Глава IX. Королевская кровь	103
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Морис Дрюон

Проклятые короли: Железный король. Узница Шато-Гайара. Яд и корона

Maurice Druon

Le roi de fer

La reine étranglée

Les poisons de la Couronne

© 1965 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales

© 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales

© 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales

© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 1979, 1960, 1961

© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сигу, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этими томами; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.
М. Д.

Железный король

*История – роман, бывший в действительности.
Э. и Ж. де Гонкуры*

Пролог

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, повел успешную борьбу даже с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап. Парламенты были в его распоряжении, а соборы – на его содержании.

У Филиппа было три совершеннолетних сына, так что он мог рассчитывать на продолжение рода. Свою дочь он выдал за короля Англии Эдуарда II. Среди своих вассалов он считал шесть иностранных королей, а союзы, заключенные им, связывали его со многими государствами, вплоть до России.

Он прибирал к рукам любые капиталы и состояния. Постепенно он обложил налогом церковную казну и земли, обобрал евреев, нанес удар по объединению ломбардских банкиров. Чтобы удовлетворять нужды казны, он прибегал к выпуску фальшивых денег. День ото дня золотые монеты становились все легче весом и стоили все дороже. Ужасающе тяжелым было бремя налогов; королевские соглядатаи буквально наводнили страну. Экономические кризисы вели к разорению и голоду, что, в свою очередь, вело к возмущениям, которые король топил в крови. Бунты кончались длинной вереницей виселиц. Всё и вся должны были покоряться, гнуть спину или разбивать себе лоб о твердыню королевской власти.

Этот невозмутимый и жестокий владыка вынашивал мысль о национальном величии Франции. При его правлении Франция была великой державой, а французы – несчастнейшими из людей.

Только одна сила осмелилась поднять голову – орден тамплиеров. Эта разветвленная организация, военная, религиозная и финансовая в одно и то же время, прославилась и разбогатела в период Крестовых походов.

Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило Филиппа Красивого, а их неисчислимы богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. Второго такого судилища не знала история, ибо по ходу дела было привлечено около пятнадцати тысяч обвиняемых. Нет такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе, длившемся целых семь лет.

Наше повествование начинается с последнего, седьмого года.

Часть первая. Проклятие

Глава I. Королева, не знающая любви

В камине на ложе из раскаленных углей пылала целая сосна. Сквозь зеленоватые стекла в свинцовых переплетах просачивался скупой мартовский свет.

На высоком дубовом кресле, спинку которого украшали три резных льва – символ английского могущества, – сидела королева Изабелла, супруга Эдуарда II; подперев подбородок ладонью, опустив ноги на пурпурную подушку, она рассеянно глядела в камин, не замечая веселой игры огня. Двадцатидвухлетняя королева славилась удивительной белизной и нежностью кожи; золотистые ее волосы были заплетены в две косы и уложены над висками наподобие ручек греческой амфоры.

Придворная дама, привезенная из Франции, читала вслух королеве поэму герцога Гийома Аквитанского:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком,
Мне некого воспеть стихом...

Певучий голос придворной дамы терялся под сводами залы, слишком просторной, чтобы женщина могла здесь чувствовать себя счастливой.

В изгнанье удаляюсь я,
Беда и горе ждут меня...

Королева, не знающая любви, вздохнула.

– Сколь прекрасны слова эти, – произнесла она, – можно подумать, что они писаны для меня. Увы! Прошли те времена, когда знатные сеньоры, вроде этого герцога Гийома, умели так же хорошо сражаться, как слагать стихи. Когда, вы сказали, он жил? Два века тому назад! А словно вчера только написано.

И она вполголоса повторила:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком...

Она задумалась.

– Прикажете продолжать, ваше величество? – осведомилась чтица, придерживая пальцем страницу с картинкой.

– Нет, милочка, не надо, – ответила королева. – Моя душа уже достаточно наплакалась сегодня...

Она поднялась и совсем другим тоном произнесла:

– Мой кузен Робер Артуа известил меня о своем прибытии. Позаботьтесь о том, чтобы, как только он приедет, его немедленно провели ко мне.

– Он едет из Франции? Как вы, должно быть, рады, ваше величество!

– Хотела бы радоваться, но только привезет ли он нам радостные вести?

Дверь распахнулась, и на пороге появилась вторая придворная дама – тоже француженка, – она запыхалась и придерживала мешавшую бежать юбку кончиками пальцев. В девичестве Жанна де Жуанвилль, она вышла замуж за сэра Роджера Мортимера.

– Ваше величество, ваше величество! – закричала она. – Он начал говорить.

– Неужели заговорил? – спросила королева. – И что же он сказал?

– Ударил по столу и сказал: «Хочу».

Гордая улыбка осветила прекрасное лицо Изабеллы.

– Приведите его ко мне, – приказала она.

Леди Мортимер все так же поспешно выпорхнула из залы; вскоре она появилась в дверях, неся на руках пухлого, розового, толстенького младенца в возрасте пятнадцати месяцев, и поставила его у ног королевы. На нем было платье гранатового цвета, все расшитое золотом, слишком тяжелое для такого малыша.

– Значит, мессир мой сын, вы сказали «хочу»? – произнесла Изабелла, нагнувшись и потрепав мальчика по щечке. – Я рада, что вы произнесли первым именно это слово: истинно королевская речь.

Ребенок улыбнулся матери и потерял голову о ее руку.

– А почему он так сказал? – спросила королева.

– Потому что я не дала ему кусочек пирога, который мы ели, – ответила леди Мортимер.

По лицу Изабеллы пробежала улыбка.

– Раз он начал говорить, – сказала она, – я требую, чтобы с ним не сюсюкали, не лопотали бессмысленно, как обычно с дитятей. Не так-то важно, чтобы он умел говорить «папа» и «мама». Я предпочитаю, чтобы он поскорее выучил слова «король» и «королева».

В ее голосе звучала прирожденная спокойная властность.

– Вы сами знаете, милочка, – продолжала Изабелла, – в силу каких причин я выбрала именно вас воспитательницей моего сына. Вы внучатая племянница славного Жуанвилля, который совершал Крестовые походы вместе с моим прадедом королем Людовиком Святым. Вы лучше прочих сможете внушить этому дитяти, что он принадлежит Франции столько же, сколько и Англии.

Леди Мортимер склонилась в глубоком реверансе. В это мгновение первая французская придворная дама объявила о прибытии его светлости графа Робера Артуа. Королева выпрямилась в кресле, скрестила на груди свои белоснежные руки, желая придать себе особо царственный вид, но даже эта поза идола не могла скрыть ее сияющей молодости.

Паркетный пол залы затрясся, заходил под тяжестью двухсот шагающих фунтов.

Вошедший имел шесть футов росту, ляжки у него были обхватом не меньше дубового ствола, руки – как палицы. На голенищах сапог красной испанской кожи виднелась засохшая грязь; плащ, накинутый на плечи, был так широк, что мог бы вполне заменить одеяло. Даже с одним кинжалом у пояса он казался в полном воинском облачении. В его присутствии всё и вся вокруг сразу становилось слабым, непрочным, хрупким. Подбородок у него был круглый, нос короткий, тяжелая челюсть, могучая грудная клетка. И воздуха ему требовалось больше, чем прочим людям. Этому гиганту шел двадцать восьмой год, но его неестественная массивность прибавляла ему лет, так что на вид ему казалось все тридцать пять.

Ставив перчатки, он подошел к королеве, с легкостью, неожиданной в таком колоссе, преклонил перед ней одно колено и тут же поднялся, не дожидаясь разрешения встать.

– Ну как, мессир мой кузен, – спросила Изабелла, – благополучно ли вы совершили плавание?

– Отвратительно, мадам, чудовищно, – ответил Робер Артуа. – Буря поднялась такая, что я чуть было не отдал Богу душу вместе с потрохами. Я уж думал, что настал мой последний час, и решил исповедоваться перед Господом Богом в своих грехах. По счастью, их оказалось

так много, что я не успел перебраться и половины, как показалась земля. Остальные я приберег для обратного пути.

От громовых раскатов его смеха в окнах задрожали стекла.

– Да, черт возьми, – продолжал он, – видно, я создан для того, чтобы колесить по земле, а не для того, чтобы барахтаться в соленой водичке. И если бы не любовь к вам, кузина, если бы не необходимость сообщить вам важнейшие известия...

– Разрешите, кузен, я покончу раньше с моими делами, – прервала его Изабелла. И, повернувшись к гостю, она кивнула на мальчика. – Мой сын начал сегодня говорить.

Потом обратилась к леди Мортимер:

– Мне угодно, чтобы он заучил имена своей родни и чтобы он как можно раньше узнал, что дед его, Филипп Красивый, – король Франции. Читайте ему с сегодняшнего дня вслух «Отче наш» и «Богородицу», а также молитву Людовику Святому. Слова эти должны запасть ему в сердце раньше, чем он поймет их разумом.

Изабелла была рада случаю показать французскому родственнику, потомку одного из братьев Людовика Святого, свои заботы о воспитании сына и направление этих забот.

– Какое прекрасное воспитание получит благодаря вам этот молодой человек! – воскликнул Робер Артуа.

– Учиться царствовать начинают с младенчества, – ответила Изабелла.

Не подозревая, что эти слова относятся к нему, мальчуган с удовольствием заковылял по зале, озабоченно переступая ножками и спотыкаясь, как дети простых смертных.

– Трудно представить себе, что мы тоже когда-то были такими! – заметил Робер Артуа.

– Особенно трудно представить это, глядя на вас, кузен, – подхватила с улыбкой королева.

На мгновение она задумалась, стараясь вообразить себе чувства той женщины, что выносила под сердцем эту человеческую глыбу, и собственное чувство к сыну, когда он станет взрослым мужчиной...

Протянув ручонки, словно намереваясь схватить пламя своими крохотными пальчиками, мальчик направился к камину. Робер Артуа преградил ему путь, выставив вперед свой красный сапог. Ничуть не испугавшись, наследный принц обхватил эту ножищу ручонками, которые так и не сошлись вокруг нее, и уселся верхом на гигантскую ступню. Робер раза три-четыре подкинул его вверх. Наследный принц хохотал, в восторге от этой забавы.

– Ах, мессир Эдуард, – сказал Робер Артуа, – осмелюсь ли я впоследствии, когда вы станете могущественным владыкой, напомнить вам, что некогда качал вас на своем сапоге?

– Как раз вы и сможете напомнить ему об этом, – ответила Изабелла, – если вы навсегда останетесь нашим искренним другом... А теперь покиньте нас, – обратилась она к окружающим.

Обе француженки вышли, уводя ребенка, которому суждено было в один прекрасный день стать королем Англии Эдуардом III, если будет на то воля Провидения.

Робер Артуа молча ждал, пока захлопнется дверь.

– Ну так вот, мадам, – сказал он, – дабы увенчать то прекрасное воспитание, которое вы даете своему сыну, сообщите ему, пожалуйста, на будущем уроке, что Маргарита Бургундская, королева Наваррская, будущая королева Франции и тоже внучка Людовика Святого, скоро будет известна в народе под кличкой Маргарита Распутница.

– В самом деле? – спросила Изабелла. – Следовательно, наши подозрения оправдались?

– Да, кузина. И не только в отношении одной Маргариты. Но и в отношении двух других ваших невесток.

– Как? Жанны и Бланки?

– Насчет Бланки бесспорно. А вот Жанна...

Робер Артуа нерешительно повел своей огромной ручищей.

– Просто она более ловка, чем те две, – добавил он, – но я имею все основания полагать, что и она тоже отпетая развратница.

Он подошел ближе к трону, расставил для прочности ноги и бросил:

– Ваши три брата, мадам, рогаты – рогаты, как последние простаки!

Королева поднялась. Ее бледные щеки окрасил румянец.

– Если то, что вы говорите, правда, я этого не потерплю, – произнесла она. – Не потерплю подобного позора, не потерплю, чтобы моя семья стала всеобщим посмешищем.

– Французские бароны тоже не намерены этого терпеть, – ответил Артуа.

– Есть у вас доказательства? Назовите имена!

Робер Артуа с шумом выдохнул воздух.

– Когда вы прошлым летом вместе с вашим супругом посетили Францию, чтобы участвовать в празднествах, во время которых я имел честь наравне с вашими братьями быть посвященным в рыцари – ибо вы знаете, что на бесплатные почести у нас не скупятся, – заметил он ядовито, – так вот, в то время я поделился с вами своими подозрениями, а вы сообщили мне о ваших. Вы приказали мне быть начеку и обо всем извещать вас. Я ваш союзник; первый ваш приказ я исполнил и явился сюда, дабы исполнить второй.

– Итак, что же вы узнали? – нетерпеливо спросила Изабелла.

– Прежде всего то, что некие драгоценности исчезли из ларца вашей благородной, вашей добродетельной, вашей кроткой невестки Маргариты. А когда женщина тайком сбывает свои драгоценности, ясно, что она желает одарить любовника или купить себе сообщников. Это бесспорная истина, не так ли?

– Но ведь она может сослаться на то, что жертвует свои бриллианты Церкви.

– Ну, не всегда. А что, если брошь, например, была дана ломбардскому купцу в обмен на дамасский кинжал?..

– А вы узнали, на чем поясе висит этот кинжал?

– Увы, нет, – вздохнул Артуа. – Искал, но сбился со следа. Развратницы слишком ловки, как я уже имел честь вам докладывать. Ни один олень в моем лесу в Конше не мог бы лучше запутать следы и сбить с толку охотника, чем эти дамы.

Изабелла сделала разочарованную гримаску. Робер Артуа предупредил слова, готовые сорваться с ее губ, предостерегающе подняв руку.

– Подождите, подождите, – воскликнул он. – Это еще не все. Честная, чистая, целомудренная Маргарита велела привести в порядок покои в старой Нельской башне, дабы, как она уверяет, творить там в одиночестве молитвы. Только почему-то молитвы творятся именно в те ночи, когда ваш брат Людовик находится в отлучке. А свет горит там за полночь. Ваша невестка Бланка, а иногда и ваша невестка Жанна тоже приходят туда помолиться. Хитрые бабенки! Если вы, скажем, спросите одну из них о ее времяпрепровождении, она вам ответит: «Как? Вы меня подозреваете? Но ведь я была с кухней!» Одна согрешившая женщина – это слабенький редут. Но три спевшиеся бесстыдницы – это уже неприступная крепость. Только вот в чем дело: в те самые дни, когда Людовик отсутствует, в те самые вечера, когда в окнах Нельской башни горит свет, в этих обычно пустынных местах, на берегу у подножия башни, начинается движение. Люди видели, что оттуда выходили мужчины отнюдь не в монашеском одеянии и не с пением псалмов на устах, ибо не в ту дверь они метят. Двор безмолвствует, но в народе пошли толки, ибо, пока хозяин еще молчит, слуга уже распускает язык.

В пылу разговора Робер взволнованно размахивал руками, шагал по зале, под ногой его стонали доски, и полы плаща со свистом рассекали воздух. Одним из самых неопровержимых доказательств Робер Артуа считал игру своих крепких мускулов. Он старался убедить противника не словами, а выставляя напоказ свою физическую мощь; словно смерч, налетал он на опешившего собеседника; а грубость речей, так хорошо вязавшаяся со всем его обликом, казалось, говорила о полном прямодушии. Однако тот, кто дал бы себе труд поближе приглядеться

к Роберу Артуа, невольно усомнился бы: уж не комедия ли все это, не ловкость ли фокусника? Ненависть, все замечающая, упорная ненависть горела в серых глазах гиганта; и молодая королева тоже только усилием воли сохраняла прежнее хладнокровие.

– Вы говорили об этом моему отцу? – спросила она.

– Дорогая моя кузина, вы же лучше меня знаете короля Филиппа. Он так верит в женскую добродетель, что согласится меня выслушать не раньше, чем я покажу ему ваших невесток в объятиях любовников. А с тех пор как моя тяжба проиграна, я не в особенной чести при дворе...

– Знаю, кузен, что с вами обошлись несправедливо, и, будь моя воля, причиненный вам ущерб был бы возмещен.

Робер Артуа бросился к королеве, схватил ее руку и прильнул к ней долгим благодарным поцелуем.

– Но как раз в связи с вашей тяжбой, – вполголоса спросила королева, – не станут ли говорить, что вы действуете из соображений мести?

Гигант подскочил:

– Конечно, мадам, я действую из мести.

Нет, действительно, этот великан Робер мог обезоружить любого! Хочешь заманить его в ловушку, поставить в тупик, а он вдруг распахивает перед вами, как окно, всю свою душу.

– У меня отняли мое наследственное графство Артуа, – закричал он, – и отдали его моей тетушке Маго Бургундской... этой суке, прощелыге, чтоб она сдохла, чтоб ей проказа все лицо разъела, чтоб у нее все нутро сгнило! А чем она добилась успеха? Только хитростью, интригами, да еще тем, что сумела вовремя позолотить ручку советников вашего батюшки. Потому-то ей и удалось женить ваших братьев на двух своих распутных дочках и своей столь же распутной кузине.

Увлечшись, он стал представлять королеве воображаемый диалог между своей теткой Маго, графиней Бургундии и Артуа, и королем Филиппом Красивым.

– «Дорогой мой сеньор, мой родич, мой кум, а что, если вы выдадите мою любимую крошку Жанну за вашего сына Людовика? Как, он не хочет? Считает, что она слишком худа?... Ну что ж! Дайте ему в жены Маргариту... Филиппу – Жанну, а вашему чудесному Карлу мою душечку Бланку. Как же мы будем радоваться их любви! И потом, если мне уступят Артуа, которым владел мой покойный брат, графство Бургундское отойдет нашим птенчикам. Ах, мой племянник Робер? Да выкиньте наконец этому псу какую-нибудь кость! Пусть получает замок Конш в графстве Бомон, этой деревенщине за глаза хватит». И давай нашептывать разные подлости нашему Ногаре, сулить золотые горы Мариньи, и вот выдает замуж одну, выдает замуж вторую, выдает замуж третью. И когда дело сделано, наши крошки-шлюхи начинают сговариваться, слать друг другу письма, добывать себе любовников и из сил выбиваться, лишь бы украсить рогами корону Франции... Ах, будь поведение их, мадам, безупречным, я бы еще как-то сумел обуздать свою досаду. Но дочки графини Бургундской узнают, с кем имеют дело, не беспокойтесь, я вымещу на них все то зло, что причинила мне тетушка, тем паче что и ведут они себя недостойно и изрядно насолили мне.

Изабелла задумчиво внимала этой словесной буре.

Артуа приблизился к королеве и произнес вполголоса:

– Они вас ненавидят.

– Надо сказать, что и я, со своей стороны, с самого начала недолюбливала их без всякой на то причины, – ответила Изабелла.

– Вы не любите их потому, что они лгуны, потому, что думают только о наслаждениях и забывают о своем долге. Но они-то, они ненавидят вас потому, что завидуют вам.

– Однако ж служба моя не слишком завидна, – вздохнула Изабелла, – их положение кажется мне куда приятнее, чем мое.

– Вы королева, мадам, – королева по духу и по крови. Пусть ваши невестки носят корону, королевами они никогда не будут. Вот поэтому-то они относятся и будут относиться к вам столь враждебно.

Изабелла вскинула на кузена свои прекрасные голубые глаза, и Артуа понял, что сумел коснуться чувствительной струнки. Отныне Изабелла целиком была на его стороне.

– Известны вам имена... ну... тех людей, с которыми мои невестки... – спросила она.

В отличие от своего родича Артуа Изабелла не любила прибегать к сильным выражениям, и иные слова просто не шли с ее губ.

– Не знаете? – допытывалась она. – Но без этого я не в состоянии что-либо предпринять. Узнайте, и клянусь вам, я немедленно под любым предлогом прибуду в Париж и положу конец всем этим безобразиям. Иначе как и чем я смогу помочь? Сообщили ли вы о ваших подозрениях моему дяде Валуа?

Изабелла снова говорила решительно, властно, твердо.

– Признаться, я воздержался от разговоров с его высочеством графом Валуа. Хотя он мой покровитель и лучший друг, но ведь он прямая противоположность вашему батюшке. Он разнесет повсюду то, что предпочтительно держать в тайне, он до срока спугнет дичь, и, когда распутницы попадутся в западню, они окажутся святее монашек...

– Что же в таком случае предлагаете вы?

– По-моему, надо избрать двойную тактику. Во-первых, приставить к мадам Маргарите новую придворную даму, которая будет блюсти наши интересы и давать нам нужные сведения. Для этой роли рекомендую мадам де Комменж, она недавно овдовела, и ей охотно пойдут навстречу. Вот тут-то нам и может пригодиться ваш дядя Валуа. Напишите ему письмо, в котором вы выразите свое желание устроить судьбу несчастной вдовы. Его высочество граф Валуа имеет огромное влияние на вашего брата Людовика, и может статься, что он, желая лишний раз показать свою власть, незамедлительно введет мадам де Комменж в Нельский отель. Таким образом, в самом сердце крепости мы будем иметь своего лазутчика, а недаром у нас, людей военных, говорится: шпион в стенах крепости стоит целой армии у крепостных стен.

– Хорошо, я напишу письмо, и вы его отвезете, – сказала Изабелла.

– Во-вторых, надо усыпить подозрения ваших невесток на ваш счет, а для этого следует приласкать их, ну, скажем, отправить им какие-нибудь подарки подороже, – продолжал Артуа. – Притом такие, что одинаково подходили бы и мужчинам, и дамам; отправьте их тайком от всех, не предупреждая ни отца, ни братьев, под предлогом маленькой дружеской тайны. Маргарита уже опустошила свой ларец ради прекрасного незнакомца; если удача нам улыбнется, мы наверняка обнаружим нашу драгоценность на вышеупомянутом кавалере – неужели Маргарита не пожелает одарить его, тем более что происхождение подарка останется в тайне. Дадим же им великолепный повод совершить неосторожный поступок.

С минуту королева сидела в раздумье, потом приблизилась к двери и хлопнула в ладоши. Вошла первая французская дама.

– Вот что, милочка, – обратилась к ней Изабелла, – соблаговолите принести поскорее золотой кошель для милостыни, тот, что предлагал мне утром купец Альбицци.

Пока придворная дама ходила за кошелем, Робер Артуа, забыв на время свои заботы и козни, огляделся вокруг: стены высокой залы были покрыты фресками на библейские сюжеты, резной дубовый потолок имел форму шатра. Все было ново, грустно, от всего веяло холодом. Мебель прекрасной работы терялась в огромных покоях.

– Да, место не из веселых, – сказал он, окончив осмотр. – Больше похоже на собор, чем на дворец.

– Благодарение Богу, что не на тюрьму, – вполголоса ответила Изабелла. – Если бы вы знали, как временами я тоскую о Франции.

Робера поразили не так слова королевы, как тон, которым они были произнесены. Он вдруг понял, что существуют две Изабеллы: одна – молодая государыня, сознающая свое высокое положение и даже несколько нарочито подчеркивающая свое величие, а за этой маской – страдающая женщина.

Французская дама принесла подбитый шелком кошель, сплетенный из золотых нитей; застежкой ему служили три драгоценных камня, каждый величиной с ноготь большого пальца.

– Чудесно! – воскликнул Артуа. – Как раз то, что нам надо. Для дамского обихода, правда, чуточку громоздко, но зато кто из наших придворных щеголей не мечтает прицепить к поясу такой кошель, чтобы блеснуть в свете...

– Закажите два таких же кошелья купцу Альбици, – приказала Изабелла придворной даме, – и велите сделать их немедленно.

Когда придворная дама вышла, Изабелла обратилась к Роберу Артуа:

– Вы доставите их во Францию.

– Никто не узнает, что подарки привез я, – ответил Робер.

Снаружи раздались крики и смех. Робер Артуа подошел к окну. Во дворе артель каменщиков поднимала вверх, к своду строящегося здания, каменную плиту, украшенную рельефным изображением английских львов. Половина рабочих тянула веревки на блоках, остальные, взобравшись на леса, готовились принять плиту. Дело шло споро и весело.

– Как видно, король Эдуард по-прежнему любит каменно-строительные работы.

Среди рабочих он узнал короля Эдуарда II, супруга Изабеллы, красивого широкоплечего и широкобедрого мужчину лет тридцати, с волнистыми густыми волосами. Его бархатный камзол был забрызган известью.

– Вот уже пятнадцать лет, как начали перестраивать Вестминстер! – гневно воскликнула Изабелла (слово «Вестминстер» она произносила на французский манер: «Вестмостье»). – Шесть лет прошло со дня моей свадьбы, и все шесть лет я живу среди лопат и корыт с известью. Построят одно, а через месяц уже ломают. И не воображайте, что король любит каменные работы – он любит каменщиков! Вы думаете, они говорят ему «сир»? Они зовут его просто Эдуард, шутят над ним, а он от всего этого в восторге. Да посмотрите сами!

Эдуард II отдавал приказания, обнимая за шею молоденького рабочего. Во дворе царила какая-то двусмысленная фамильярность. Каменных английских львов снова опустили на землю, очевидно не найдя для них подходящего места.

– Я думала, что хуже, чем при рыцаре Гавестоне, уже быть не может. Этот наглый и хвастливый беарнец так ловко управлял моим супругом, что, в сущности, управлял самим королевством. Эдуард подарил ему все мои драгоценности из свадебного ларца. Очевидно, в нашей семье уж так повелось, что драгоценности, принадлежащие женщинам, тем или иным способом переключиваются к мужчинам!

Наконец-то Изабелла могла излить близкому человеку, родственнику, свою душу, поведать о своих горестях и унижениях. Нравы Эдуарда II были известны всей Европе.

– В прошлом году баронам и мне удалось свалить Гавестона: ему отрубили голову, тело четвертовали и выставили напоказ в четырех главных городах королевства, – удовлетворенно улыбаясь, закончила Изабелла.

Выражение жестокости, омрачившее это прекрасное чело, отнюдь не смутило Робера Артуа. Надо сказать, что подобные явления были в те времена делом самым обычным. Нередко бразды правления вручались подростку, которого могущество власти увлекало, как занятная игра. Еще вчера он забавы ради отрывал крылышки у мух, а сегодня мог забавы ради отрубить голову человеку. Такой слишком юный властелин не боялся, да и просто не представлял себе смерти и поэтому не колеблясь сеял ее вокруг себя.

Изабелла взошла на престол в шестнадцатилетнем возрасте; за шесть лет она весьма преуспела в ремесле государей.

– И представьте, кузен, – продолжала она, – я иногда даже с сожалением вспоминаю о рыцаре Гавестоне. Ибо с тех пор Эдуард, желая мне отомстить, собирает во дворец все самое низкое, самое грязное, что только есть в стране. Он посещает лондонские портовые притоны, бражничает с бродягами, бьется на кулачках с грузчиками, соперничает с конюхами в их искусстве. Нечего сказать, достойные короля турниры! А тем временем государством управляет первый встречный, лишь бы он умел развлечь Эдуарда и сам принимал участие в его развлечениях. Сейчас эту роль играют бароны Диспенсеры, отец ничуть не лучше сына, который состоит при моем супруге в качестве наложницы. А мной Эдуард пренебрегает вовсе; если же нас сводит случай, меня охватывает такой стыд, что я вся леденею.

Она потупила голову.

– Королева, если ее не любит муж, самая несчастная среди всех своих подданных. От нее требуют лишь одно – обеспечить продолжение царствующего дома, а до чувств ее никому нет дела. Да разве любая женщина, жена барона, горожанина, крестьянина, наконец, разве согласились бы они терпеть такие мучения, какие терплю я... лишь потому, что я королева? Да последняя английская прачка имеет больше прав, чем я: она может прийти ко мне просить о заступничестве...

Робер Артуа прекрасно знал – да и кто этого не знал! – что Изабелла несчастна в браке, но до сих пор он не представлял себе ни всей глубины драмы, ни страданий молодой королевы.

– Кузина, моя прекрасная кузина, я буду вашим заступником! – пылко воскликнул он.

Изабелла печально пожала плечами, как бы говоря: «Чем же вы можете мне помочь!» Их лица почти соприкасались. Робер протянул руки, привлек ее к себе со всей нежностью, на какую только был способен, и прошептал:

– Изабелла...

Положив руки на плечи гиганта, она ответила полупшепотом:

– Робер...

Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, и обоих охватило неожиданное волнение. Роберу показалось, что в голосе Изабеллы прозвучал тайный зов. Он вдруг почувствовал какое-то странное смятение, его сковывала, смущала собственная сила, и он боялся надеть неловкостей.

Вблизи голубые глаза Изабеллы под полукружьем каштановых бровей казались еще прекраснее, еще бархатистее казалась кожа, еще соблазнительнее похожие на пушистый персик щеки. Меж ее полуоткрытых губ белели ослепительные зубы.

Внезапно Робера охватило желание посвятить свою жизнь, свои дни, свое тело и душу этим губам, этим глазам, этой хрупкой королеве, которая сейчас вдруг стала такой, какой была на самом деле, – юной девой; его влекло к ней, и он не умел выразить это страстное и неукротимое влечение. Знатные женщины были не в его вкусе, и не в его натуре было разыгрывать из себя галантного кавалера.

– Почему я так с вами разоткровенничалась? – сказала Изабелла.

Они по-прежнему не отрываясь глядели друг другу в глаза.

– За то, чем пренебрегает король, не видя в том совершенства, другие бы мужчины денно и ночью благословляли Небеса, – произнес Артуа. – Как вам, в ваши годы, вам, красавице, блещущей свежестью, – вам лишиться естественных радостей? Неужели эти губы не узнают вкуса поцелуев? А эти руки... это тело... О, найдите себе избранника, и пусть ваш выбор падет на меня.

Бесспорно, Робер слишком уж прямо шел к цели, да и речь его совсем не напоминала поэтические вздохи герцога Гийома Аквитанского. Но Изабелла почти не слышала его слов. Робер подавлял ее, нависал над ней как глыба; от него пахло лесом, кожей, конским потом и чуть-чуть железом от долгого ношения доспехов; ни голосом, ни повадками он не напоминал завязанного покорителя женских сердец, и однако, она была покорена. Перед ней был мужчина,

настоящий мужчина, грубый и необузданный, с трудом переводивший дыхание. Воля покинула Изабеллу, и ей хотелось только одного – припасть головой к этой груди, широкой, как у буйвола, забыться, утолить мучительную жажду... Она затрепетала.

Потом вдруг выпрямилась.

– Нет, Робер, не надо! – воскликнула она. – Я не сделаю того, в чем первая упрекаю своих невесток. Я не могу, не должна. Но когда я подумаю о своей участи, о том, чего я лишена, тогда как им посчастливилось иметь любящих мужей... О нет! Их должно покарать, и покарать сурово!

При мысли, что ей самой заказан грех, Изабелла втрое возненавидела своих грешных невесток. Она отошла и села на высокое дубовое кресло. Робер Артуа последовал за ней.

– Нет-нет, Робер, – повторила она, предостерегающе подняв руку. – Не пользуйтесь моей минутной слабостью, я вам этого никогда не прощу.

Совершенная красота внушает такое же уважение, как и величие. Гигант молча отступил.

Но тому, что произошло, – этим минутам не суждено никогда изгладиться из их памяти. На какое-то мгновение между ними перестали существовать всякие преграды. Они с трудом отвели друг от друга глаза. «Значит, и я могу быть любима», – подумала Изабелла, и в душе она почувствовала признательность к человеку, давшему ей эту блаженную уверенность.

– Итак, кузен, это все, что вы мне хотели сообщить, или у вас есть еще новости? – спросила она, с усилием овладевая собой.

Робер Артуа, который в свою очередь размышлял о том, правильно ли он сделал, отступив так быстро, ответил не сразу.

Он шумно перевел дыхание и произнес таким голосом, словно очнулся от долгого сна:

– Да, мадам, у меня есть к вам поручение от вашего дяди Валуа.

Какие-то новые таинственные узы связали их отныне, и каждое произнесенное слово приобретало теперь иное значение.

– Вскоре будет суд над старейшинами тамплиеров, – продолжал Артуа, – и есть все основания опасаться, что ваш восприемник от купели Великий магистр ордена Жак де Моле будет предан смерти. Ваш дядя Валуа просит вас написать королю и молить о помиловании.

Изабелла ничего не ответила. Она уселась, как и прежде, подперев ладошкой подбородок.

– Как вы на него похожи! – воскликнул Артуа.

– На кого похожа?

– На короля Филиппа, вашего батюшку.

– То, что решил король, мой отец, то решено окончательно, – медленно произнесла Изабелла. – Я могу вмешиваться в дела, затрагивающие честь нашей семьи, но я не намерена вмешиваться в государственные дела Франции.

– Жак де Моле – глубокий старец. Он был благороден, был велик. Ежели он совершал ошибки, он уже искупил их сторицей. Вспомните, что он ваш крестный отец. Поверьте мне, готовится большое злодеяние, и снова его затевают Ногаре и Мариньи! Нанося удар по тамплиерам, хотят нанести в их лице удар по всему рыцарству, по всему высокому сословию. И кто же? Безродные, ничтожные люди.

Изабелла молчала в нерешительности, дело было слишком важное, дабы она осмелилась вмешаться в него.

– Я не могу судить о таких вещах, – сказала она, – нет, не могу судить.

– Вы знаете, что я в долгу перед вашим дядей Валуа, и он будет мне крайне признателен, если я получу от вас письмо. К тому же сострадание к лицу королеве; жалость – прирожденная добродетель женщины, и добродетель, достойная всяческих похвал. Кое-кто упрекает вас в жестокосердии – вступившись за безвинных, вы дадите клеветникам блистательный отпор. Сделайте это ради себя, Изабелла, а также и ради меня.

Имя ее, Изабелла, он произнес тем же тоном, каким произнес его, когда они стояли у окна.

Королева улыбнулась:

– Вы, Робер, искусный дипломат. Кто бы мог подумать, ведь с виду вы настоящий дикарь. Хорошо, я напишу письмо, которое вам так хочется получить, и вы сможете доставить его вместе со всем прочим. Я даже попытаюсь добиться письма от короля Англии к королю Франции. Когда вы уезжаете?

– Когда прикажете, кузина.

– Думаю, кошельки будут готовы завтра: значит, скоро.

В голосе королевы прозвучало огорчение. Робер взглянул ей в глаза, и она снова смутилась.

– Я буду ждать от вас гонца, который сообщит, следует ли мне отправляться во Францию. Прощайте, месьсир. Увидимся за ужином.

Робер вышел, и зала вдруг показалась королеве удивительно тихой, как долина после промчавшегося над ней урагана. Изабелла прикрыла глаза и с минуту сидела не шевелясь.

«Этого человека, – думала она, – озлобили вечные несправедливости. Но на любовь он способен ответить любовью».

Люди, призванные сыграть важную роль в истории народов, по большей части не знают, каких событий станут они орудием. И эти двое, беседовавшие на закате мартовского дня 1314 года в Вестминстерском дворце, не могли себе даже представить, что в силу стечения обстоятельств, в силу собственных действий они дадут толчок войне между королевствами Франции и Англии – войне, которая будет длиться более ста лет.

Глава II. Узники Тампля

На стенах от сырости проступали темные пятна. Туманный желтоватый свет робко пробивался в сводчатое подземелье.

Узник спал, скрестив руки под длинной бородой. Вдруг он задрожал всем телом, вскочил с бешено бьющимся сердцем и растерянно оглянулся вокруг. С минуту он стоял неподвижно, не спуская глаз с оконца, к которому прильнула утренняя дымка. Он прислушался. Непонятно толстые стены поглощали все звуки, однако ж он отчетливо различал перезвон парижских колоколов, возвещавших заутреню: вот зазвонили на колокольне Сен-Мартен, потом Сен-Мерри, Сен-Жермен л'Оксеруа, Сент-Эташ и на колокольне собора Парижской Богоматери; им вторили колоколенки предместных деревень – Куртиля, Клиньянкура и Монмартра.

Ни одного подозрительного звука, который оправдывал бы внезапный испуг узника. Он вскочил с ложа, гонимый смертельной тоской, которая сопровождала каждое его пробуждение, подобно тому как сон неизменно приносил кошмары.

Он потянулся к большой деревянной лохани и жадно отхлебнул глоток воды, чтобы утишить ту лихорадку, что терзала его дни и ночи. Напившись, он подождал, пока взбаламученная поверхность воды уляжется, и нагнулся над лоханью, как над зеркалом или над зевом колодца. Темная гладь воды отразила лицо столетнего старца. Узник не отрывал от нее взора, надеясь обнаружить в этом нечетком, расплывчатом изображении свой прежний облик, но вода отражала лишь длинную патриаршую бороду, ввалившийся рот, бледные губы, облепившие беззубые челюсти, тонкий, иссохший нос, желтые провалы глазниц.

Он отодвинул лохань, поднялся и сделал несколько шагов, пока цепь, приковывавшая его к стене, не потянула его обратно. Тогда он вдруг завопил:

– Жак де Моле! Жак де Моле! Я – Жак де Моле!

Никто не отозвался на этот вопль. Никто и ничто. Узник знал, что не ответит даже эхо.

Но ему надо было во что бы то ни стало выкрикивать время от времени свое собственное имя, бросать его этим каменным столбам, сводам, дубовой двери, дабы удержать свой разум на пороге безумия, дабы напомнить себе самому, что ему семьдесят два года, что он командовал армиями, правил провинциями, достиг власти, равной королевской, и что до тех пор, пока в нем еще тлеет огонек жизни, он даже здесь, в этом узилище, есть и будет Великим магистром ордена рыцарей-тамплиеров.

В довершение жестокости или для вящего издевательства Жака де Моле и его главных сподвижников заключили в низких залах башни отеля Тампль, превращенной ныне в темницу, заточили в собственном их жилище, в их главной штаб-квартире.

– И подумать только, что я, я сам велел отстроить заново эту башню! – гневно пробормотал Великий магистр, ударив кулаком по стене.

Но тут же он с криком отдернул руку, так как от удара воскресла жестокая боль в правой кисти – раздробленный большой палец представлял собой бесформенный кусок незаживающего мяса. Да есть ли в его теле хоть одно место, не превратившееся в рану, не ставшееместищем боли? Кровь застаивалась в старческих, набрякших венах, и после пытки «испанским сапогом» он страдал от жесточайших судорог в икрах. Его ноги пропустили тогда между двух досок, и всякий раз, когда «пытошники» постукивали по доскам деревянным молотком, в мясо врезались дубовые шипы, а Гийом де Ногаре, хранитель печати, задавал ему вопросы и требовал признания. Какого признания? Моле лишился чувств.

Это истерзанное, изломанное тело доконали грязь, сырость, скудная пища.

А недавно он подвергся самой страшной из всех применявшихся к нему дотоле пыток – его пытали на дыбе. К правой ноге привязали груз в сто восемьдесят фунтов и с помощью веревки, перекинутой через блок, вздернули его, старика, к потолку. Снова и снова звучал злобный голос Гийома де Ногаре: «Признайтесь же, мессир...» И так как Моле упорно отрицал всякую вину, его бесчисленное число раз подтягивали к потолку, и с каждым разом все быстрее, все резче. Ему показалось, что кости его выходят из суставов, мышцы рвутся, тело, не выдержав напряжения, распадается на части, и он завопил, что признается, да, признается в любых преступлениях, во всех преступлениях мира. Да, тамплиеры предавались содомскому греху; да, для вступления в орден требовалось плюнуть на Святое распятие; да, они поклонялись идолу с кошачьей головой; да, они занимались магией, колдовством, чтили дьявола; да, они растратили доверенные им сокровища; да, они замыслили заговор против папы и короля... В чем он бишь признался еще?

Жак де Моле с удивлением думал о том, как он смог пережить все это. Несомненно, лишь потому, что истязатели действовали с расчетом и пытки никогда не доходили до того предела, за которым должна была последовать смерть, и еще потому, что организм престарелого рыцаря, закаленного в боях и походах, оказался куда более живучим, чем сам он мог предположить.

Узник упал на колени, обратив взор к бледному лучу, пробивавшемуся сквозь оконце.

– Господи, владыко живота моего, – произнес он, – почему Ты наделил большею силой плоть мою, нежели дух мой? Был ли я достоин управлять орденом? Ты допустил меня до малодушества; не дай же мне, Господи, впасть в безумие. Дольше терпеть нет у меня силы.

Целых семь лет сидел он на цепи; только для допросов выводили его из узилища, а сколько натерпелся он от судей и теологов, от их угроз и принуждений. Неудивительно, что он боялся утратить рассудок. Нередко Великий магистр терял счет дням. Желая хоть как-то скрасить свое существование, он пытался приручить двух крыс, являвшихся каждую ночь, чтобы попить черствой коркой хлеба. От слез он переходил к гневу, от приступов пламенной веры к необузданным богохульствам, от оцепенения к бешенству.

– Пусть они сдохнут... пусть сдохнут... – твердил он.

Кто? Климент, Гийом, Филипп... Папа, хранитель печати и король. Они умрут. Моле не знал, какая им уготована кончина, но твердо верил, что их ждут неслыханно страшные страда-

ния во искупление свершенных ими злодейств. И он без устали твердил эти три ненавистных имени.

Не поднимаясь с колен, задрав бороду к светлому пятну оконца, Великий магистр бормотал:

– Благодарю тебя, Господи, что ты не отнял от меня ненависти. Только силой ненависти я еще держусь на этой земле.

С трудом приподнявшись с колен, он добрел до каменной скамьи, высеченной в стене и служившей ему одновременно и ложем, и единственным сиденьем.

Разве мог он когда-либо даже вообразить, что дойдет до такого унижения? Мыслью он беспрестанно уносился ко дням детства, ко дням юности, к тому, что было пятьдесят лет назад, когда он спустился с отрогов родных Юрских гор в поисках великих приключений.

В ту пору все младшие отпрыски знатных родов мечтали поскорее надеть длинный белый плащ с черным крестом – традиционное облачение рыцарей-тамплиеров. Уже от самого слова «тамплиер» веяло духом дальних странствий и подвигов, оно вызывало в воображении корабли, идущие на Восток с гордо раздутыми парусами, страны, где вечно сини небеса, коней, мчащих всадников в атаку через пески пустыни, все сокровища Аравии, богатый выкуп за пленников, отбитые у врага города, отданные на поток и разграбление, крепости, к которым от морского берега ведут гигантские лестницы. Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани, откуда они отплывают в неведомые земли...

И свершилась мечта Жака де Моле: одетый в роскошный плащ, складки которого спадали до золотых шпор, он горделиво шагал по далеким городам...

Он достиг высших ступеней иерархии ордена, таких, которых никогда и не надеялся достичь, получил все титулы и наконец по выбору братьев тамплиеров занял высший пост Великого магистра Франции и заморских стран, имел под своим началом пятнадцать тысяч рыцарей.

И все кончилось этим склепом, этой грязью, этими лишениями. Редко на чью долю выпадала такая неслыханная удача и на смену ей приходило столь глубокое унижение.

Звеном цепи Жак де Моле стал чертить на сырой стене какие-то линии, долженствующие изображать план крепости, как вдруг в коридоре, ведущем в его темницу, послышались тяжелые шаги и звон оружия.

Снова тоска сжала его сердце, но на сей раз он знал, откуда она, почему овладела им.

Массивная дверь заскрипела, открылась, и за спиной тюремщика Моле увидел четырех лучников в коротких кожаных камзолах и с пиками в руке. В нетопленном коридоре от их дыхания поднималось легкое облачко пара.

– Мы за вами, мессир, – сказал командир отряда лучников.

Моле молча поднялся со скамьи.

Тюремщик подошел к нему и несколькими сильными ударами молотка и зубила отбил заклепку, приковывавшую цепь к железным кольцам весом в четыре фунта, охватывавшим щиколотки узника.

На иссохшие плечи Моле накинул широкий плащ, свой знаменитый плащ, превратившийся в жалкую вылинявшую тряпку; украшавший его черный крест висел лохмотьями.

Затем он тронулся в путь. В осанке этого немощного старца, который, шатаясь, с трудом переступая закованными в железо ногами, поднимался по лестнице башни, еще чувствовался военачальник, отбивший в последний раз Иерусалим у неверных.

«Господи, дай мне силы, – шептал он про себя, – дай мне хоть немного силы». И чтобы вернуть себе эту желанную силу, он твердил имена трех заклятых своих врагов: Климент, Гийом, Филипп...

Обширный двор Тампля окутывал туман, он лениво цеплялся за башенки крепостной стены, струился сквозь бойницы, скрывая своей белесой пеленой колокольню соседней церкви...

Сотня лучников с пиками в руках окружала большую открытую четырехугольную повозку; они вполголоса переговаривались.

А там, за стенами, шумел Париж; временами гул человеческих голосов прорезало пронзительно-грустное конское ржание.

Посреди двора медленно расхаживал мессир Ален де Парей, капитан королевских лучников, тот, кто самолично присутствовал при всех казнях, тот, кто сопровождал всех заключенных в судилище и на пытки; его невозмутимо-спокойное лицо не выражало ничего, кроме скуки. Алену де Парей было под сорок, короткие, преждевременно поседевшие волосы спадали прядями на его квадратный лоб. На нем была кольчуга, на боку висел меч, шлем он держал на сгибе локтя.

Услышав шаги Великого магистра, Ален оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно-бледное лицо.

Обычные допросы не обставлялись так торжественно: в этих случаях обходились и без повозки, и без вооруженных стражников. Несколько королевских приставов являлись за обвиняемыми и переправляли их на лодке на другой берег Сены, чаще всего в сумерки. Присутствие Алена де Парей говорило о многом.

– Итак, приговор вынесен? – спросил Моле капитана лучников.

– Да, мессир.

– А вы не знаете, сын мой, – спросил Моле после минутного колебания, – что значит в приговоре?

– Не знаю, мессир. Я получил приказ доставить вас в собор Парижской Богоматери, где будет оглашено решение суда.

Воцарилось молчание, которое нарушил Жак де Моле:

– А какой сегодня день?

– Первый понедельник после Дня святого Григория.

Это соответствовало 18 марта – 18 марта 1314 года.

«Везут нас на смерть?» – думал Моле.

Дверь башни вновь отворилась, и под конвоем стражников появились трое сановников ордена: генеральный досмотрщик, приор Нормандии и командор Аквитании.

Седовласые, как и Моле, с такими же, как у него, всклокоченными белыми бородами, в таких же лохмотьях, прикрывавших такие же хилые тела, трое сановников ордена неподвижно стояли посреди двора, растерянно хлопая веками в провалившихся орбитах, похожие на огромных ночных птиц, ослепленных дневным светом. В довершение сходства левый глаз командора Аквитании затянуло бельмом, и старик действительно напоминал филина. Вид у него был совсем безумный. У генерального досмотрщика – лысого старика – от водянки чудовищно распухли ноги и руки.

Первым пришел в себя приор Нормандии Жоффруа де Шарне: путаясь в цепях, он бросился к Великому магистру и обнял его. Долгая дружба связывала этих людей. Жак де Моле покровительствовал Шарне, который был моложе его на десять лет, и видел в нем своего преемника.

Поперек лба Шарне шел глубокий рубец, давний след схватки, во время которой ударом меча ему рассекло лоб и повредило нос. Мужественный старец уткнулся изуродованным войной лицом в плечо Великого магистра, чтобы скрыть слезы.

– Мужайся, брат мой, мужайся, – сказал Великий магистр, сжимая его в объятиях. – Мужайтесь, братья мои, – повторил он, обнимая по очереди двух остальных своих сотоварищей.

Каждый при виде другого мог судить о своем собственном состоянии.

К узникам приблизился тюремщик.

– Вас могут расковать, мессеры, – сказал он.

Великий магистр поднял руки усталым и покорным жестом.

– У меня нет ни одного денье, – ответил он.

Ибо при каждом выходе из тюрьмы тамплиеры, для того чтобы с них сняли или на них надели цепи – на тюремном языке расковали или заковали, – должны были отдать один денье из тех двенадцати, что отпускала им казна для уплаты за скудную, несъедобную пищу, за солому для ложа и за стирку белья. Еще одна насмешка, еще одно проявление жестокости со стороны Ногаре... Ведь тамплиеры находились под следствием, им еще не вынесли обвинительного приговора. Они имели право на бесплатное содержание. Двенадцать денье, когда кусок мяса стоил все сорок! Другими словами, четыре дня в неделю они сидели вовсе без пищи, спали на голых камнях и гнили в грязи.

Приор Нормандии вынул из старого кожаного кошелька, висевшего у пояса, два последних денье и швырнул монеты на землю – один денье за расковку его самого, один за Великого магистра.

– Брат мой! – протестующе воскликнул Жак де Моле.

– На что мне они теперь? – ответил Шарне. – Не отказывайтесь, брат мой, тут даже никакой моей заслуги нет.

Каждый удар молотка, разбивавшего их цепи, болью отдавался в старых костях. Но еще сильнее болело сердце, куда, казалось, прихлынула вся кровь.

– На сей раз нам конец, – пробормотал Моле.

Он думал о том, какой смерти их предадут и суждено ли им испытать еще неизведанные пытки.

– Но нас ведь расковали, кто знает, может быть, это и добрый знак, – возразил генеральный досмотрщик, разминая вспухшие от водянки руки. – А вдруг папа решил нас помиловать?

Во рту у него осталось только два передних зуба, и при разговоре он пришепetyвал; от долгого пребывания в темнице разум его помутился – старик впадал в детство.

Великий магистр пожал плечами и молча указал на лучников, выстроившихся вокруг повозки.

– Приготовимся к смерти, братья мои, – сказал он.

– Вы только посмотрите, что они со мной сделали! – воскликнул досмотрщик. Он засучил рукав, обнажив изуродованную руку.

– Всех нас пытали, – ответил Великий магистр.

Каждый раз, когда при нем заговаривали о пытках, он в смущении опускал глаза. Ведь он не выдержал, дал ложные показания и не мог простить себе своей слабости.

Он не отрывал глаз от огромной крепости, которая была когда-то его гнездовьем, символом его могущества.

«В последний раз», – подумалось ему.

В последний раз глядел он на эту каменную громаду, на ее башенку, церковь, в последний раз обнимал взглядом ее дворцы, дома, дворы и сады – настоящая крепость в самом сердце Парижа.

Здесь в течение двух веков жили, творили молитвы и суд тамплиеры, здесь находили они ночлег, здесь обсуждали планы дальних походов, здесь, в этой башенке, хранилась казна французского государства, вверенная их попечению и их власти.

Сюда после неудачных Крестовых походов Людовика Святого, после падения Палестины и Кипра возвращались они в сопровождении своих оруженосцев, своих мулов, груженных золотом, своей кавалерии на чистокровных арабских конях и своих черных рабов.

Жак де Моле мысленно видел блистательное возвращение побежденных, пытавшихся держаться героями.

«Мы стали никому не нужны и не поняли этого, – думал Великий магистр. – Мы по-прежнему говорили о новых Крестовых походах, об отвоевании утраченных владений... Быть может, мы пользовались незаслуженно большими привилегиями, не по чину гордились. Были Христовым воинством, а превратились в банкиров Церкви и короны. А чем больше у тебя должников, тем больше врагов».

Ловко же их провели! Трагедия началась в тот день, когда Филипп Красивый попросил принять его в орден тамплиеров, чтобы самому стать Великим магистром. Капитул ответил ему отказом, высокомерным и категорическим отказом.

«Правильно ли я поступил? – в сотый раз думал Жак де Моле. – Не слишком ли я ревновал к власти своей? Нет, иначе поступить я не мог; в наших правилах записано раз и навсегда: „Среди командоров наших не может быть государей“».

Не забыл король Филипп своей неудачи, не забыл нанесенной ему обиды. Начал действовать хитростью, вдвойне осыпая Жака де Моле милостями и знаками дружеского расположения. Разве Великий магистр не крестил его, Филиппа, дочь Изабеллу? Разве он, Великий магистр, не был надежнейшей опорой королевства? Однако королевскую казну переместили из Тампля в Лувр. В то же самое время о тамплиерах поползла с чьей-то легкой руки глухая, но ядовитая молва: говорили, что они наживаются на продаже зерна и что они виновники голода. Что у них одно на уме – набивать кошелек, а гроб Господень пусть-де остается в руках неверных. А поскольку тамплиеры выражались, как и подобает воинам, языком грубым и недвусмысленным, их обвиняли в богохульстве. Даже поговорку сложили – «бранится, как тамплиер». А от богохульника до еретика один шаг. Говорили, что у них процветают противоестественные нравы и что черные их рабы – волшебники и колдуны...

«Само собой разумеется, не все наши братья отличались святостью, а многих из нас стигла бездеятельность».

Особенно упорно говорили, что во время церемонии приема неофитов ищущих заставляли отречься от Христа, плевать на Святое распятие, принуждали ко всевозможным мерзостям.

Под тем предлогом, что пора, мол, положить конец недостойным слухам, Филипп Красивый предложил Великому магистру во имя интересов и чести ордена расследование.

«И я согласился, – думал Великий магистр, – меня ввели в заблуждение, я был чудовищно обманут».

Ибо октябрьским днем 1307 года... Ах, никогда Моле не забудет этого дня... «Еще накануне он меня лобызал, звал меня братом, по его настоянию я возглавлял процессию на погребении его невестки графини Валуа...»

На заре в пятницу, 13 октября – поистине роковое число – король Филипп, еще задолго до того раскинувший гигантскую сыскную сеть, приказал от имени святой инквизиции арестовать всех тамплиеров Франции по обвинению в ереси. Ногаре самолично арестовал Жака де Моле и сто сорок рыцарей, проживавших в Тампле...

Голос мессира Алена де Парей, бросившего лучникам какое-то приказание, оторвал Великого магистра от его печальных, сто раз передуманных мыслей. Он вздрогнул всем телом. Мессир Алэн велел лучникам построиться в походном порядке. Шлем он надел на голову. Оруженосец подвел ему лошадь и придержал стремя.

– Ну, пойдем, – сказал Великий магистр.

Узников пинками подогнали к повозке. Первым взошел на нее Жак де Моле. Командор Аквитании, тот, у которого один глаз затянуло бельмом, человек, некогда отбросивший турецкое воинство от Сен-Жан-д'Акра, так и не понял, что происходит. Пришлось втащить его на повозку силой. Брат генеральный досмотрщик молча шевелил губами, продолжая бесконеч-

ную беседу с самим собой. Когда на повозку вскарабкался Жоффруа де Шарне, вдруг где-то рядом с конюшней завyla собака, и рубец, который пересекал лоб приора Нормандии, сурово нахмурившего брови, сморщился, налился кровью.

Четыре лошади, запряженные цугом, медленно повлекли тяжелую повозку.

Под неистовый рев толпы распахнулись главные ворота. Тысячи людей, все жители квартала Тампл и соседних кварталов, давя друг друга, жались к крепостным стенам. Лучники, возглавлявшие шествие, тупым концом пик прокладывали дорогу среди вопящей толпы.

– Дорогу королевским слугам! – кричали лучники.

Неподвижно сидя на коне, с обычным своим невозмутимым и скучающим видом Ален де Парей царил над всей этой сумятицей.

Но крики разом смолкли, когда появились тамплиеры. Увидев четырех иссохших, как скелеты, старцев, которые при толчках валились друг на друга, парижане, охваченные невольной жалостью, на секунду онемели от удивления.

Но снова раздался крик: «Смерть им!», «Смерть еретикам!» – это кричали королевские стражники, смешавшиеся с народом. И тогда толпа, готовая присоединить свой голос к любому выкрику, исходящему от власти имущих, и побушевать, если это ничем не грозит, начала реветь во всю глотку:

– Смерть им!

– Воры!

– Идолопоклонники!

– Вы только взгляните на них! Что-то нынче эти язычники не так спесивы, как раньше!

Смерть им!

По всему пути зловещего кортежа раздавались проклятия, угрозы, грубые шутки. Но пламя этой ярости не разгоралось. Добрая половина толпы по-прежнему молчала, и молчание это было не только свидетельством благоразумия – оно красноречиво говорило о многом.

Так много переменялось за эти семь лет! Теперь люди знали, как шло судилище. Видели тамплиеров на церковной паперти, где они показывали верующим переломанные во время пыток ноги. Были свидетелями того, как на площадях городов Франции раскладывали костры и сотнями сжигали на них рыцарей-храмовников. Слышали, что некоторые церковные комиссии отказывались выносить приговор и что пришлось даже назначить новых епископов – к примеру, брата коадьютора Ангеррана де Мариньи, – с целью добиться осуждения тамплиеров. Утверждали, что сам папа Климент V уступил против воли, ибо, находясь в руках короля, убоился судьбы предшественника своего папы Бонифация. К тому же за эти семь лет зерна не стало больше, цены на хлеб не упали, а возросли, и приходилось признать, что виновны в этом не тамплиеры.

Двадцать пять лучников с луком на перевязи и пикой за плечом шагали перед повозкой, столько же шло по обе ее стороны, и столько же замыкало шествие.

«Ах, будь у нас хоть чуточку прежней силы», – шептал Великий магистр. В двадцать лет он, не задумываясь, прыгнул бы на плечи ближайшего лучника, выхватил его пик и попытался убежать или дрался бы, пока не постигла бы его тут же на парижских улицах смерть. А сейчас слабые старческие ноги не могли его удержать на тряской повозке.

Позади брат досмотрщик по-прежнему бормотал свое, и слова с шипением вылетали из его беззубого рта:

– Они нас не осудят. Не верю, чтобы они нас осудили. Мы же теперь никому не опасны...

А старый кривой тамплиер, только сейчас вышедший из своего оцепенения, шептал:

– Как славно на улице! Как славно подышать свежим воздухом. Не правда ли, брат мой?

«Он даже не понимает, куда нас везут», – подумал Великий магистр.

Приор Нормандии дотронулся до его плеча.

– Мессир, брат мой, – произнес он вполголоса, – видите, там в толпе многие плачут, крестятся. Значит, мы не одиноки на нашем тернистом пути.

– Люди эти могут нас жалеть, но помочь нам они бессильны, – ответил Жак де Моле. – Мне бы хотелось видеть здесь иные лица.

Брат приор понял, какие именно лица хотелось бы видеть Великому магистру и какой безумной последней надеждой тешит он себя. Но тут же он сам стал жадно всматриваться в толпу. Ведь известное количество тамплиеров сумело вырваться в 1307 году из когтей сыска, кое-кто укрылся в монастырях, другие, наоборот, сложив с себя духовный сан, жили в неизвестности, скрывались в селах и городах; одни перебрались в Испанию, где арагонский король, отказавшись повиноваться приказам короля Франции и папы, предоставил убежище командорам тамплиеров, основав для них новый орден. И наконец, те, что предстали перед более милостивым судилищем, были отданы на поруки монахам ордена госпитальеров. Все эти бывшие тамплиеры, елико возможно, поддерживали между собой связи и находили способ тайно общаться друг с другом.

И Жак де Моле думал, что, быть может...

Быть может, они устроили заговор. Быть может, из-за угла улицы, из-за угла этой улицы Блан-Манто, из-за угла улицы Бретонри, из-за ограды монастыря Сен-Мерри выскочит группа людей и, выхватив спрятанное под кольчугой оружие, разгонит лучников, а другие, притаившиеся в оконных нишах, начнут метать камни. Повозка помчится галопом, нападающие в довершение паники перережут солдатам путь...

«Но ради чего бывшие наши братья решатся на такой поступок? – думал Моле. – Для того чтобы освободить своего Великого магистра, который предал их, который отрекся от ордена, не выдержал пыток...»

И все же он всматривался в толпу, в самые задние ее ряды, но видел лишь почтенных отцов семейства, которые несли детей на плечах, чтобы те могли насладиться зрелищем и чтобы потом, много лет спустя, когда перед ними произнесут слово «тамплиер», вспомнили бы четырех бородатых трясущихся старцев, окруженных конвоем, словно злодеи.

Генеральный досмотрщик по-прежнему что-то шепелявил, а герой Сен-Жан-д'Акра по-прежнему бормотал о том, как славно прогуляться утром.

Великий магистр почувствовал, как в его душе нарастает гнев, граничащий с безумием, – гнев, который охватывал его временами в темнице и заставлял с воплями биться о каменные стены. Да, он готов был совершить нечто страшное, ужасное, что именно – он не знал сам... Но эта потребность была сильнее его.

Он принимал смерть, смерть была для него даже избавлением, но он не желал умирать обесчещенным. В последний раз он почувствовал в старческой крови тот боевой пыл, который воодушевлял его в юности. Он хотел умереть как воин.

Он нащупал руку Жоффруа де Шарне, старого своего соратника, единственного несломленного, сильного человека, бывшего с ним, и крепко сжал эту руку.

Вскинув на него глаза, приор Нормандии увидел, что на висках Великого магистра напряженно бьются жилы, похожие на голубых змеек.

Кортеж подходил к мосту Нотр-Дам.

Глава III. Невестки короля

Аппетитный запах горячего теста, меда и масла стоял вокруг лотка.

– Вафли горячие, горячие вафли! На всех не хватит! А ну-ка, горожане, спешите, налетайте! Вафли горячие! – надрывался торговец, возясь у печурки, стоявшей прямо под открытым небом.

Он попевал повсюду разом – раскатывал тесто, вытаскивал из огня готовые вафли, выдавал сдачу, зорко следил за тем, чтобы мальчишки не стащили чего с лотка.

– Вафли горячие!

Кондитер так захлопотался, что не заметил, как новый покупатель протянул к стойке холеную белую руку, взял тонкую трубочку и положил взамен ее деньги. Он успел заметить только, что левой рукой покупатель положил вафлю обратно, откусив от нее всего один кусочек.

– Уж больно заелись! – проворчал торговец, раздувая печурку. – Какого им еще рожна нужно: мука пшеничная, а масло прямо из Вожирара...

Оторвавшись от печурки, он поднял глаза и, увидев покупателя, к которому относилась его хула, так и замер с открытым ртом – конец фразы застрял у него в глотке. Перед лотком стоял высокий человек с огромными неподвижными глазами, в белом капюшоне и плаще до колен.

Кондитер не успел отвесить поклон и пробормотать извинения, как человек в белом капюшоне уже отошел прочь.

Опустив руки и не замечая, что целый противень вафель уже начал гореть, хозяин все глядел вслед этому человеку, видел, как он смешался с толпой.

Если верить путешественникам, объехавшим Африку и Восток, торговые кварталы Сите напоминали арабские рынки. То же непрерывное движение толпы, те же тесно составленные лавчонки и лотки, те же запахи кипящего масла, пряностей и кожи, те же неторопливо шагающие покупатели и те же зеваки, забившие все проходы. Каждая улица, каждый переулок имел свою специальность: здесь, в комнатухе за лавкой, сновал взад и вперед по станку челнок ткача; тут стучали по железной ноге башмачники; рядом ловко действовал шилом шорник, а чуть подальше столяр вытачивал ножки для табурета. Были улицы, где торговали птицей; были улицы, где торговали травами и овощами; были «кузнечные» улицы, где с оглушительным звоном бил по наковальне молот и в горне багровели раскаленные угли. Золотых дел мастера облюбовали себе набережную, которая так и называлась Набережной ювелиров, и сидели, согнувшись над тиглями.

Узенькая полоска неба едва проглядывала меж деревянных и глинобитных домов, крыши которых почти соприкасались, так что из окна можно было свободно протянуть руку соседу, жившему в доме напротив. Земля, за исключением маленьких островков, была покрыта зловонной грязью, по которой в зависимости от состояния и положения кто шлепал босиком, кто семенял в деревянных башмаках, кто ступал в кожаных туфлях.

Широкоплечий человек в белом капюшоне, заложив руки за спину, медленно брел среди шумливой толпы и, казалось, не замечал тесноты и толчков. Впрочем, многие прохожие с поклоном уступали ему дорогу, на что он отвечал коротким наклоном головы. Он был атлетического сложения, белокурые, с рыжинкой, шелковистые волосы падали волнами почти до плеч, правильное, невозмутимо спокойное лицо поражало удивительной красотой.

Три королевских стражника в голубых камзолах – в руке каждого красовался жезл, оканчивающийся резной лилией, символом их власти, – следовали на некотором расстоянии за прохожим в белом капюшоне, останавливались, когда останавливался он, и шли вперед, когда шел вперед он.

Вдруг какой-то юноша в узком полукафтани, с трудом сдерживая на сворке трех борзых, загородил проход в соседний переулок и, увлекаемый сильными псами, бросился под ноги прохожему, чуть его не опрокинув. Собаки сбились в кучу и завывали.

– Вот еще нахал! – Молодой человек говорил с заметным итальянским акцентом. – Вы чуть моих собак не подавили. Жаль, что они в вас не вцепились.

Невысокий, но ладно сложенный юноша лет восемнадцати от роду, со жгучими черными глазами и тонким овалом лица, теперь уже нарочно загородил дорогу и выкрикивал что-то

басом, стараясь придать себе вид взрослого мужчины. Кто-то из прохожих взял его под руку и шепнул на ухо несколько слов. Юноша тут же снял шапку и склонился перед незнакомцем в глубоком поклоне, в котором чувствовалось уважение, лишенное, впрочем, всякого раболепства.

– Прекрасные собаки! Чьи же они? – спросил прохожий в белом капюшоне, не отрывая от лица юноши своих огромных холодных глаз.

– Моего дяди банкира Толомеи, с вашего позволения, – ответил юноша.

Не сказав больше ни слова, человек в белом капюшоне двинулся вперед. Когда его фигура скрылась в толпе, а стражники проследовали в том же направлении, возле молодого итальянца собрался кружок зевак, раздался громкий хохот. А юноша не трогался с места, казалось, он не мог стерпеть обиду; даже собаки и те смущенно жались к его ногам.

– Что-то он теперь притих, – раздался насмешливый голос.

– Поглядите-ка на него! Чуть было не свалил короля на землю, да еще его же и обругал.

– Тебя, сынок, веселенькая ночька ждет, будешь ночевать в тюрьме и вдобавок тридцать горячих к ужину получишь.

Итальянец сердито оглянулся на зевак.

– Ну и что тут такого? – заговорил он. – Я ведь его никогда не видал; как же я мог его узнать? И потом, запомните, горожане, что родом я из той страны, где нет королей, и там можно не жаться к стене. В моем родном городе Сиене каждый гражданин сам себе король. Кто хочет сразиться с Гуччо Бальони – пусть выходит.

Он, словно вызов, бросил толпе свое имя. Непомерной гордыней горели глаза юного тосканца. У пояса поблескивал кинжал. Никто не спешил откликнуться на его вызов; юноша щелкнул пальцами, поднимая собак, и пошел своей дорогой; как он ни бодрился, он не мог скрыть уныния при мысли, не возымеет ли для него эта дурацкая выходка печальных последствий.

Ибо толкнул он не кого иного, как самого короля Франции Филиппа Красивого. Этот властелин, с которым не мог и мечтать сравниться могуществом ни один здравствующий государь, любил бродить по городу как простой горожанин, любил по дороге справиться о ценах на товары, попробовать фрукты, проверить добротность ткани, послушать, о чем судачит парижский люд. Он как бы щупал пульс жизни своего народа. Иной раз чужеземец, не зная, кто перед ним, справлялся у короля о дороге. Раз даже его остановил солдат и потребовал уплаты жалованья. Столь же скупой на слова, как и на деньги, король чаще всего обходился во время таких прогулок двумя-тремя фразами и ограничивал свои расходы двумя-тремя су.

Король проходил по мясному рынку, как вдруг на колокольне собора Парижской Богоматери тревожно запели колокола и издали донесся громкий шум.

– Вот они! Вот они! – раздались крики.

Шум все приближался; люди в волнении бросились бежать. Здоровенный мясник вышел из-за прилавка и, не выпуская из рук резака, завопил во всю глотку:

– Смерть еретикам!

Жена дернула мясника за рукав:

– Опомнись, какие они еретики! Сам ты еретик! Иди-ка лучше в лавку, займись с покупателями, горе ты мое горькое, бездельник этакий!

Супруги сцепились. Их тут же окружила толпа зевак.

– Они сами во всем признались перед судьями, – вопил мясник.

– А судьи-то каковы? – подхватил из толпы чей-то голос. – Судьи – они судьи и есть. Заплатишь им побольше, ну и рассудят по-твоему, боятся, что их под зад коленом с места турнут.

Тут все заговорили хором.

– Тамплиеры – они святые люди. Сколько одной милостыни раздавали.

– Взяли бы их деньги, а самих бы не мучили.

– А потому и мучили, что король их первый должник.

– Правильно король поступил.

– Что король, что тамплиеры – один черт, – крикнул молоденький подмастерье. – Если волки промеж собой грызутся, нам же лучше – значит, целы будем.

Какая-то женщина случайно оглянулась, побледнела как полотно и сделала знак остальным – молчите, мол. Позади стоял Филипп Красивый и спокойно глядел на всех своим неподвижным, ледяным взором. Стражники незаметно приблизились к королю, готовые вмешаться в случае надобности. В мгновение ока толпа рассыпалась, зеваки опрометью бросились по улице, крича во весь голос:

– Да здравствует король! Смерть еретикам!

Ни один мускул не дрогнул на лице короля. Казалось, он ничего не слышал. Если ему и доставляло удовольствие заставлять людей врасплах, то наслаждался он этим втайне.

А шум становился все оглушительнее. Кортеж, направлявшийся к собору Парижской Богоматери, показался на углу улицы, и король, укрывшись в проходе между двумя домами, заметил Великого магистра, стоявшего на повозке вместе с тремя своими сотоварищами. Великий магистр держался прямо; при виде его король недовольно поморщился: Жак де Моле был скорее похож на мученика, нежели на побежденного.

Отстав от жадной до зрелищ толпы, бросившейся вслед за повозкой, Филипп Красивый свернул на внезапно опустевшую улицу и все тем же спокойным шагом направился ко дворцу.

Пусть толпа поворчит немного, пусть Великий магистр гордо выпрямляет свой старческий хилый стан – через час все будет кончено, и приговор – король был в этом уверен – вынесут единогласно. Через час дело целых семи лет будет завершено, закончено. Епископский трибунал учрежден; лучников предостаточно; стражники надежно охраняют все переулки. Через час дело тамплиеров перестанет занимать умы, и в любом случае королевская власть лишь укрепится.

«Даже дочь моя Изабелла будет довольна. Я уступлю ее просьбе и всех удовлетворю. Но дольше тянуть было уже нельзя», – подумал Филипп Красивый, вспомнив только что услышанный разговор.

Он прошел к себе во дворец через Гостиную галерею.

Филипп Красивый заново перестроил дворец, и от старых зданий осталась только Сент-Шапель, заложенная при дяде Филиппа Людовике Святом. Возведение новых зданий и украшение их было в духе той эпохи. Государи соперничали на поприще архитектуры: если в Вестминстере строили башню, то тут же возводилась башня в Париже. Новый архитектурный ансамбль Сите с огромными белокаменными башнями, возвышающимися над Сеной, выглядел внушительно, даже чуть-чуть кичливо.

Филипп, прижимистый насчет мелких трат, не скупился, когда речь шла об утверждении его могущества. Но поскольку не в его характере было пренебрегать выгодой, он за солидное вознаграждение предоставил торговцам право торговать в длинной галерее, которая шла через весь дворец, поэтому она звалась в ту пору Гостиной галереей, впоследствии ее переименовали в Торговую галерею.

Гостиная галерея представляла собой просторное крытое помещение, похожее на собор с двумя приделами. Стройностью ее пропорций восторгались приезжие чужеземцы. Над колоннадой стояли в ряд сорок статуй сорока французских королей, которые сменялись на престоле королевства франков, начиная с Фарамона и Меровинга. Напротив статуи Филиппа Красивого возвышалась статуя Ангеррана де Мариньи, коадьютора и правителя королевства, того, кто вдохновлял короля на труды и направлял их.

Вокруг колонн шли прилавки, заваленные различными принадлежностями туалета, стояли рундуки с женскими нарядами; купцы бойко торговали украшениями, вышивками и кру-

жевом, а вокруг вечно толпились хорошенькие парижанки и придворные дамы. Открытая для всех и каждого, Гостиная галерея стала излюбленным местом прогулок, деловых встреч и нежных свиданий. Под сводами раздавался звонкий смех, слышался гул голосов, веселый женский лепет, но весь этот шум покрывали пронзительные выкрики зазывал. Тут и там звучал иностранный говор, преимущественно итальянский и фламандский.

Какой-то сухопарый малый, решивший ввести в употребление носовые платки и нажиться на этой новинке, выхваливал свой товар, размахивая перед носом слушавших его роскошных дам квадратиками полотна с зубчиками по краям.

– Разве не обидно, прекрасные дамы, – кричал он, – сморкаться с помощью собственных пальцев или в рукав, когда существуют прелестные платочки, нарочно для того изобретенные? Разве вся эта красота не создана для ваших сиятельных носиков?

Рядом благообразный старичок из кожи лез вон, стараясь всучить девице штуку английских кружев.

Филипп Красивый не спеша шел по галерее. Придворные встречали его низкими поклонами. Женщины приседали в реверансе. Король любил этот веселый шум, смех, эти знаки почтения, лишний раз подчеркивающие его власть, но скрывал свои чувства от посторонних взглядов. Здесь набатный звон, рвущийся с колокольни собора Парижской Богоматери, заглушенный гулом голосов, казался совсем далеким, мягким, даже добродушным.

Вдруг король заметил двух женщин, стоявших в обществе высокого, хорошо сложенного белокурого юноши, – прелестная группа привлекала всеобщее внимание и взгляды своей сияющей молодостью и изяществом. Молоденькие дамы были невестки короля – те, кого называли «бургундские сестры». Жанна, графиня Пуатье, жена среднего сына Филиппа, и Бланка, младшая ее сестра, жена младшего сына короля. Их спутник был в костюме придворного.

Они беседовали вполголоса, сдерживая невольное оживление молодости. Филипп Красивый замедлил шаг, присматриваясь к своим невесткам.

«Мои сыновья не могут на меня пенять, – подумал он. – Я не только преследовал интересы короны, не только искал выгодных союзов, я дал им прехорошеньких спутниц жизни».

«Бургундские сестры» мало походили друг на дружку. Старшей, Жанне, супруге Филиппа Пуатье, исполнился двадцать один год. Она была высока и стройна, каштановые волосы ее казались почти пепельными, что-то в ее сдержанных манерах, в привычке искоса взглядывать на собеседника напоминало королю прекраснейшую борзую из его своры. Одевалась она скромно и просто, но простота эта лишь подчеркивала изысканность ее туалета. В тот день на ней было длинное платье светло-серого бархата с узкими рукавами, поверх которого она набросила полудлинную накидку, отороченную горностаем.

Ее сестра, пухленькая Бланка, чуть ниже ростом, румянее, ребячливее, была моложе ее на три года, на ее щеках виднелись совсем детские ямочки, которым суждено было сохраниться еще надолго. При светлых волосах золотистого оттенка у нее были – явление редкое для блондинки – карие глаза и прелестные крохотные зубки. Одеваться было для нее не только забавой, но и страстью. В этой своей страсти она доходила до крайностей, до утраты хорошего вкуса. Она питала слабость к непомерно большим чепцам с плоеными оборочками и нацепляла на воротник, манжеты, к поясу бесчисленное количество драгоценных пряжек и брошей. Она любила платья, расшитые сверху донизу жемчугом и золотым позументом. Но Бланка была так мила, что ей прощали любое безрассудство, была так довольна сама собой, что радовала все взоры.

Маленькая группа оживленно обсуждала какое-то дело, все время упоминая о сроке в пять дней... «Ну разумно ли поднимать такой переполох из-за пяти дней?» – как раз произнесла графиня Пуатье, когда из-за колонны неожиданно для собеседников возникла фигура короля.

– Добрый день, дочери мои, – сказал он.

Молодые люди разом замолкли. Юный красавец склонился в низжайшем поклоне, отступил на шаг, как то полагалось ему по чину, и потупил глаза. Сестры, сделав глубокий реверанс, молча стояли перед королем; обе покраснели и слегка растерялись. По их смущенным лицам видно было, что их застигли врасплох.

– Ну что ж, дочери, – продолжал король, – уж не помешал ли я вашей болтовне? О чем это вы тут говорили?

Его не удивил подобный прием. Он уже давно привык к тому, что все люди, с которыми он сталкивался, даже домашние, даже самые близкие родственники, робели в его присутствии. Сам он нередко с удивлением спрашивал себя, почему при его приближении между ним и другими людьми возникает ледяная стена – за исключением только Мариньи и Ногаре; не мог он понять и того, почему на всех лицах при виде его вдруг появлялось испуганное выражение. А ведь он старался быть приветливым и любезным. Он желал, чтобы его одновременно и боялись, и любили. Непомерно большое притязание...

Первой обрела свою обычную самоуверенность маленькая Бланка.

– Простите нас, государь, – произнесла она, – но не так-то приятно повторить то, что мы говорили.

– Почему же? – спросил Филипп Красивый.

– Потому что... потому что мы плохо отзывались о вас, – ответила Бланка.

– В самом деле? – сказал Филипп, не зная, принять ли слова невестки за шутку, и удивляясь, что с ним осмеливаются шутить.

Он бросил быстрый взгляд на юношу, который, стоя на почтительном расстоянии, видимо, чувствовал себя не совсем ловко в присутствии короля, и спросил, указывая на него движением подбородка:

– Кто это такой?

– Мессир Филипп д'Онэ, конюший дяди Валуа; дядя прислал его ко мне в качестве провожатого, – отозвалась графиня Пуатье.

Юноша снова отвесил низкий поклон.

На мгновение в голове короля промелькнула мысль, что сыновья его, пожалуй, поступают не совсем разумно, позволяя своим женам разгуливать с такими красивыми конюшими, и что прежний обычай, по которому принцессы имели право выходить из дома только в сопровождении придворных дам, был не так-то плох.

– У вас есть брат? – спросил он молодого конюшего.

– Да, государь, мой брат находится при его высочестве графе Пуатье, – ответил д'Онэ, с трудом выдерживая тяжелый королевский взгляд.

– Верно, я вас всегда путаю, – произнес король. И, обратившись к Бланке, спросил: – Итак, что же вы обо мне говорили дурного?

– Мы с Жанной пеняли на вас, батюшка, ибо наши мужья совсем отбились от рук: пять ночей кряду вы держите их допоздна на заседаниях Совета или посылаете бог весть куда по государственным делам.

– Дочки, дочери, разве можно говорить о таких вещах вслух, – укоризненно сказал король.

Он был целомудрен от природы, и говорили, что в течение своего девятилетнего вдовства не знал женщин. Но он не мог сердиться на Бланку. Ее живой, веселый нрав, ее смелые речи обезоружили бы любого. Хотя слова невестки несколько покоробили его, в душе он забавлялся ее отвагой. Король улыбнулся, что случалось не чаще раза в месяц.

– А что скажет третья? – спросил он.

Под словом «третья» он подразумевал Маргариту Бургундскую, кузину матери Жанны и Бланки, жену его старшего сына Людовика, короля Наваррского.

– Маргарита? – воскликнула Бланка. – Она заперлась у себя, она сердится, она говорит, что вы такой же злой, как и красивый.

И снова король не мог сразу решить, как следует ему принять последние слова невестки. Но Бланка смотрела на него таким ясным, таким наивным взглядом. Только она одна осмеливалась шутить с королем, только она одна не трепетала в его присутствии.

– Ну что ж, утешьте ее и утешьтесь сами, Бланка. Людовик и Карл проведут нынешний вечер с вами. Сегодня в королевстве хороший день, – сказал Филипп. – Вечернего заседания совсем не будет. А ваш супруг, Жанна, вернется завтра, я знаю, что с его помощью наши дела во Фландрии сильно продвинулись вперед. Я им доволен.

– Тогда я вдвойне отпраздную его приезд, – промолвила Жанна, склонив свою прекрасную шею.

Для короля Филиппа этот разговор был пределом многословия. Он резко повернулся к невесткам спиной и, даже не попрощавшись, зашагал к огромной лестнице, ведущей в его покои.

– Уф! – вздохнула Бланка, приложив руку к бешено бившемуся сердцу и следя взором за удаляющимся королем. – На сей раз спаслись.

– Я думала, что умру от страха, – произнесла Жанна.

Филипп д'Онэ вспыхнул до корней волос, но теперь его щеки окрасил румянец гнева, а не смущения.

– Благодарю вас, – сухо сказал он Бланке, – не особенно-то приятно выслушивать подобные вещи.

– А что прикажете делать? – воскликнула Бланка. – Может быть, вы посоветуете мне что-нибудь получше? Сам стоял как вкопанный и что-то мямлил. Он подкрался сзади, и мы его не видели. А во всем государстве нет более чуткого уха. Если он услышал наши последние слова, иного способа вывернуться не было. И вместо того чтобы меня обвинять, вы лучше бы поблагодарили меня, Филипп.

– Перестаньте, – сказала Жанна. – Пойдем скорее к лавкам; совершенно незачем стоять с таким заговорщицким видом.

Непринужденным шагом они двинулись к лоткам, отвечая на почтительные приветствия встречающих.

– Мессир, – вполголоса произнесла Жанна, – должна вам заметить, что только вы и ваша глупая ревность – причина всего. Если бы вы тут не стонали, не плакались на жестокость королевы Наваррской, король не подслушал бы нашего разговора.

Филипп шагал с хмурым видом.

– Верно, верно, – подхватила Бланка, – ваш брат куда приятнее вас.

– Еще бы, ведь им не пренебрегают, и я от души рад за него, – ответил Филипп. – Вы правы, я глупец, ибо лишь глупец может позволить обращаться с собой как со слугой женщине, которая зовет его к себе, только когда ей вздумается поразвлечься, и отправляет прочь, когда желание проходит, которая неделями не подает признаков жизни, а при встрече даже не желает узнавать. Какую еще шутку она сыграет со мной?

Филипп д'Онэ, конюший его высочества графа Валуа, брата короля Франции, уже в течение трех лет был любовником Маргариты, старшей невестки Филиппа Красивого. И если он осмеливался так дерзко говорить о ней с Бланкой Бургундской, супругой Карла, младшего сына Филиппа Красивого, то лишь потому, что сама Бланка состояла в связи с его братом Готье д'Онэ, конюшим графа Пуатье. И если он осмеливался говорить таким образом в присутствии Жанны, графини Пуатье, то лишь потому, что Жанна, хотя сама до сих пор и не завела себе друга сердца, потакала, отчасти по слабости характера, отчасти развлечения ради, любовным интригам двух других невесток короля, устраивала их свидания, помогала встречам.

Итак, к описываемому нами времени, к ранней весне 1314 года, к тому самому дню, когда шел суд над тамплиерами и не было у короны заботы важнее, из трех французских принцев двое – старший, Людовик, и младший, Карл, – стали рогоносцами благодаря двум коню-

шим, один из коих принадлежал к свите их дяди, другой – к свите их родного брата, и все это при благосклонном участии их невестки Жанны, верной супруги, но добровольной сводницы, втайне наслаждавшейся видом запретной любви.

Следовательно, те сведения, которые были доставлены английской королеве несколькими днями раньше, вполне отвечали истине.

– Во всяком случае, нынче вечером Нельская башня отменяется, – произнесла Бланка.

– Не вижу никакой разницы между сегодняшним вечером и всеми предыдущими, – возразил Филипп д'Онэ. – Я просто с ума схожу при мысли, что этой ночью Маргарита в объятиях Людовика Наваррского будет шептать те же слова...

– Ах, друг мой, это уж слишком, – высокомерно произнесла Жанна. – Только что вы обвиняли Маргариту, кстати без всякого основания, в том, что у нее есть другие любовники. А сейчас вы готовы лишить ее даже законного супруга. Вы просто забываете, кто вы и кто я, очевидно, вам вскружила голову моя снисходительность. Боюсь, что завтра мне придется посоветовать моему дяде отослать вас на несколько месяцев в графство Валуа, там в ваших охотничьих угодьях вы успокоитесь и одумаетесь.

Красавец Филипп сразу пришел в себя.

– О мадам, – пробормотал он. – Я ведь там умру.

Сейчас он казался еще очаровательнее, чем в гневе. Он опустил свои длинные шелковистые ресницы, изящно очерченный подбородок дрогнул – он был так красив, что стоило попугать его ради одного удовольствия видеть это милое выражение страха. Он вдруг стал таким несчастным, таким трогательным, что «бургундские сестры» пожалели его и улыбнулись, забыв недавние тревоги.

– Передайте вашему брату Готье, что нынче вечером я буду тосковать о нем, – сказала Бланка нежнейшим голоском.

И снова самый проникательный человек встал бы в тупик и не мог бы решить, говорит она правду или лжет.

– Может быть, стоит предупредить Маргариту, передать ей то, что мы узнали? – спросил нерешительно д'Онэ. – В том случае, если она собралась сегодня вечером...

– Пусть Бланка делает как знает, – ответила Жанна, – я не желаю больше вмешиваться в ваши дела. Рано или поздно все кончится печально, право же, не стоит компрометировать себя, и чего ради?

– Конечно, – подхватила Бланка, – ты не пользуешься благоприятными обстоятельствами, а ведь твой муж чаще всего бывает в отлучке. Вот если бы нам с Маргаритой так везло...

– Но у меня просто нет вкуса к таким вещам, – сказала Жанна.

– Вернее, нет достаточно храбрости, – кротко возразила Бланка.

– Ты права, если бы даже я и захотела солгать, мне все равно не удалось бы сделать это так ловко, как умеешь ты, сестрица, и уверяю вас, я бы немедленно выдала себя с головой.

Последние слова Жанна задумчиво растянула. Нет, ей действительно не хотелось обманывать своего супруга Филиппа Пуатье, но, с другой стороны, до смерти надоела эта репутация святоши и недотроги.

– Мадам, – обратился к ней Филипп, – не могли бы вы послать меня к вашей невестке с каким-нибудь поручением?

Жанна искоса взглянула на юношу и вдруг почувствовала себя растроганной.

– Неужели вы дня не можете прожить без вашей прекрасной Маргариты? – спросила она. – Так и быть, pošлю вас. Хотите, куплю в подарок Маргарите какую-нибудь безделушку, а вы отнесете ей? Но помните, это уже в последний раз.

Они подошли к прилавку. Пока дамы перебирали драгоценности, причем Бланку интересовали только самые дорогие вещи, Филипп д'Онэ вспоминал свою встречу с королем.

«Каждый раз, когда он меня видит, он осведомляется о моем имени, – думал Филипп. – По-моему, сегодня это было уже в десятый раз. И всегда вспоминает моего брата».

Его охватило неясное предчувствие беды, и он спрашивал себя, почему король внушает ему такой ужас. Без сомнения, причиной тому неестественно огромные, неподвижные глаза Филиппа, их странный, не поддающийся определению цвет – не то серый, не то бледно-голубой, похожий на поверхность озера, скованного льдом, сверкающим под лучами зимнего солнца, – глаза, которые врезаются в память и которые все еще видишь через много-много часов после встречи.

Ни «бургундские сестры», ни их кавалер не заметили высокого человека, почти великана, в охотничьем костюме, который стоял у соседнего прилавка; он с притворным жаром торговал золотую пряжку и уголком глаза следил за молодыми людьми. Человек этот был граф Робер Артуа.

– Филипп, у меня нет при себе денег. Заплатите, пожалуйста.

Голос Жанны вывел юношу из задумчивости. Он с восторгом исполнил ее просьбу. Жанна выбрала в подарок Маргарите шнур, свитый из золотых нитей.

– И мне такой же, – потребовала Бланка.

У Бланки тоже не оказалось денег, и за ее шнур тоже заплатить пришлось Филиппу. Это повторялось всякий раз, когда он сопровождал сестер на прогулке. Обе заверяли, что тут же вернут долг, но обе забывали о долге, а Филипп – слишком галантный кавалер – никогда им об этом не напоминал.

«Будь осторожен, сынок, – предупредил как-то сына мессир Готье д'Онэ. – Помни, что чем богаче женщина, тем она дороже нам обходится».

Филипп убедился в этом на собственном опыте. Но отнюдь не горевал по этому поводу. Д'Онэ были богаты, и их ленные владения Вемар и Онэ-ле-Бонди, лежавшие между Понтуазом и Люзаршем, приносили огромные доходы. Филипп старался уверить себя, что дружба со столь высокопоставленными особами принесет ему впоследствии и деньги, и почет. А сейчас, когда речь шла об удовлетворении страсти, даже золото не имело в его глазах никакой цены.

Он держал в руках драгоценный подарок – хороший предлог, чтобы проникнуть в Нельскую башню, по ту сторону реки, где жили король и королева Наваррские. Если пройти мостом Сен-Мишель, то можно быть там через десять минут.

Он отклонялся принцессам и вышел из Гостиной галереи.

На звоннице собора Парижской Богоматери замолк бас колокола, и над островом Сите воцарилась необычная, тревожная тишина. Что же происходило там, в соборе?

Глава IV. Когда собор Парижской Богоматери был еще белым

Лучники, вытянувшись цепью, сдерживали напор толпы, рвущейся на паперть собора. Ко всем окнам жались любопытные лица.

Утренняя дымка разошлась, и бледные солнечные лучи робко скользили по белым каменным стенам собора. Ибо храм был достроен только семьдесят лет тому назад, и до сих пор его не переставали украшать и прихорашивать. Собор сохранил еще блеск новизны, и утренний свет подчеркивал линию стрелок свода, свободно проникал сквозь каменное кружево главной розетки, углубляя розоватые тени в нишах над колоннами, где дремала бесконечная вереница статуй.

По случаю суда с паперти прогнали поближе к домам торговца цыплятами, который неизменно являлся сюда по утрам со своей живностью.

Пронзительное кудахтанье пернатых пленниц раздирало тишину, ту гнетущую тишину, что так поразила Филиппа д'Онэ, когда он выбрался из Гостиной галереи. В воздухе летали перья и чуть не забивались в рот прохожих.

Впереди своих лучников в картинной позе замер капитан Ален де Парей.

На самых верхних ступенях лестницы, ведущей к паперти, стояли четыре тамплиера, спиной к толпе, лицом к церковному трибуналу, разместившемуся на пороге широко распахнутой двери главного входа. На скамьях позади стола расселись епископы, каноники, церковнослужители.

Любопытные показывали друг другу трех кардиналов, которых прислал сюда в качестве своих легатов папа Климент, дабы подчеркнуть, что вынесенный приговор не может быть ни обжалован, ни опротестован перед Святым престолом. Чаше других взгляды зрителей искали Жана де Мариньи, молодого архиепископа Санского, брата коадьютора, того, что самолично вел дело против тамплиеров, а также и брата Рено, исповедника короля и Великого инквизитора Франции.

Тридцать монахов, кто в коричневом, кто в белом облачении, толпились за спиной членов судилища. Среди собравшихся священнослужителей находился лишь один человек, не имевший духовного сана, – это был прево города Парижа по имени Жан Плуабуш, приземистый мужчина лет пятидесяти. Он сердито хмурился и, казалось, не испытывал особого восторга от столь блистательного соседства. Здесь он представлял светскую, королевскую власть, и в обязанность его входило поддерживать порядок. Его взгляд беспрерывно переходил от толпы к рядам лучников, выстроившихся под командой капитана, останавливался на молодом архиепископе Санском; по лицу прево нетрудно было догадаться о мучившей его мысли: «Лишь бы только все прошло гладко».

Солнечные лучи играли на золоченых митрах, на епископских посохах, на пурпуровых кардинальских одеяниях, на багрово-красных епископских одеяниях, пробегали по бархатным, отороченным горностаем коротким мантиям, отражались в наперсных крестах, в металлических кольчугах, золотили обнаженные клинки. Эта роскошная игра красок, эти яркие блики еще резче подчеркивали контраст между группой обвиняемых и пышным судилищем, собравшимся ради них, между судьями и четырьмя старыми, оборванными тамплиерами, которые стояли, прижавшись друг к другу, неразличимо серые, будто изваянные из пепла.

Первый папский легат кардинал-архиепископ д'Альбано стоя читал постановление суда. Читал медленно, приподнято-торжественным тоном; он упивался звуком собственного голоса, сиял от самодовольства, сиял от сознания, что выступает перед новой, чужеземной аудиторией. Он то испуганно открывал глаза, словно его ужасало даже простое перечисление совершенных тамплиерами проступков, то величаво елейным тоном излагал суть какой-нибудь новой улики, нового злодеяния, перечислял новые отягчающие обстоятельства.

– ...Заслушаны показания братьев Жеро дю Пасаж и Жана де Кюньи, кои утверждают, равно как и многие другие, что при принятии в орден тамплиеров их понуждали силой плевать на Святое распятие, ибо – как говорили им – сие есть лишь кусок дерева, а Господь Бог наш – на небесах... Заслушаны показания брата Ги Дофэна, заявившего, что высшая братия терзала его плоть, желая удовлетворить с ним похоть свою, понуждала его дать согласие исполнить то, что от него потребуют... Заслушаны показания главы ордена тамплиеров де Моле, каковой при допросе признал свою вину и сообщил, что...

Люди, теснившиеся вокруг паперти, с трудом улавливали смысл приговора, ибо легат говорил с сильным итальянским акцентом и слишком уж торжественным тоном. Словом, легат перестарался и затянул. Толпа начинала терять терпение...

Слушая обвинения, лжесвидетельства, признания, вырванные пыткой, Жак де Моле шептал:

– Ложь, ложь, ложь!..

Он так долго твердил это слово, так старательно выговаривал его, что из горла у него вырвался какой-то глухой звук, и тамплиеры удивленно оглянулись на своего магистра.

Гнев, охвативший Жака де Моле, еще когда их везли на повозке, не только не угас, но рос с каждой минутой. Жилки на ввалившихся висках бешено пульсировали.

Ничего не произошло, никто не прервал кошмара, и уже не вырвется из толпы зевак отряд бывших тамплиеров. Неумолим приговор судьбы.

Заслушаны показания брата Юга де Пейро, каковой сообщил, что неофиты обязаны были трижды отречься от Иисуса Христа...

Югом де Пейро звался брат генеральный досмотрщик.

Он обратился к Жаку де Моле искаженное ужасом лицо и пробормотал:

– Брат мой, брат мой, когда же я это говорил?

Четыре сановных тамплиера, покинутые Богом и людьми, чувствовали, что их словно зажало огромными тисками между толпой и судилищем, между королевской властью и властью Церкви. Каждое слово кардинала-легата сжимало тиски, и одной лишь смертью мог окончиться этот кошмар.

Как до сих пор не поняли допрашивающие, хоть им и объясняли сотни раз, что прозелитов обязывали пройти через обряд отречения, чтобы укрепить их дух на тот случай, если попадутся они в руки неверных мусульман, кои заставляют отречься от веры Христовой?

Великий магистр испытывал неистовое желание схватить прелата за глотку, надавать ему пощечин, сорвать с него митру и швырнуть ее наземь, задушить его; и только мысль о том, что при первом же движении его схватят, удерживала Моле на месте. Да и не только одного папского легата готов был он растерзать на части, но и молодого Мариньи, этого красавчика с золотыми побрякушками на голове, который со скучающим видом откинулся на спинку кресла. Но особенно ему хотелось добраться до трех своих отсутствующих врагов: до короля, хранителя печати и папы.

Бессильная ярость, что тяжелее железных цепей, застилала его взор, перед глазами плыл пурпуровый туман. И однако, должно же что-то произойти. Голова его кружилась, он боялся, что вот-вот рухнет на каменные плиты паперти. Он не замечал, что та же ярость охватила Шарне, что от рубца, пересекавшего багровый лоб приора Нормандии, вдруг отхлынула кровь.

А папский легат прервал на минуту свою напыщенную декламацию, опустил длинный пергаментный свиток, потом снова поднес его к глазам. Он старался продлить столь редкостный спектакль. Чтение обвинительного заключения было закончено, и легат приступил к чтению приговора.

– ...Принимая во внимание, что обвиняемые признали и подтвердили свою вину, суд постановляет приговорить их к пребыванию меж четырех стен, дабы могли они искупить свои прегрешения слезами раскаяния. *In nomine patris...*¹

Чтение закончилось. Легат медлил сесть на место, он стоя свернул пергаментный свиток и вручил его писцу.

Первое мгновение толпа недоуменно безмолвовала. Из столь длинного перечня преступлений естественно вытекала смертная казнь, и приговор к «пребыванию меж четырех стен» – другими словами, к бессрочному заключению в темнице, в цепях, на хлебе и воде – поразил всех своим милосердием.

Филипп Красивый правильно рассчитал удар. Общественное мнение, огорошенное таким приговором, примет его как должное, примет как нечто будничное развязку трагедии, которая будоражила страну целых семь лет. Первый легат и молодой архиепископ Санский обменялись еле приметной понимающей улыбкой.

– Братья мои, братья мои, – заикаясь, бормотал брат досмотрщик, – так ли я расслышал? Значит, нас не убьют! Значит, нас помиловали!

¹ Во имя отца... (лат.)

Глаза его наполнились слезами; чудовищно распухшие руки тряслись, беззубый рот искривился, словно перед взрывом безудержного смеха.

Зрелище этой неправдоподобно страшной радости вывело толпу из оцепенения. С минуту Жак де Моле смотрел на полубезумное лицо брата досмотрщика и думал, что некогда этот человек был отважен духом и телом.

И вдруг с вершины лестницы прогремел голос:

– Протестую!

И так мощны были его раскаты, что в первое мгновение никто не поверил, что вырвался этот крик из груди Великого магистра.

– Протестую против несправедливого приговора и утверждаю, что все преступления, приписываемые нам, вымышлены от начала до конца! – кричал Жак де Моле.

Казалось, вся толпа разом глубоко вздохнула. Судьи заволновались, не зная, что делать. Кардиналы растерянно переглядывались. Никто не ожидал такого конца. Жан де Мариньи вскочил с кресла. Куда девался его скупающий вид, лицо его побледнело как полотно, он выпрямился и дрожал от гнева.

– Лжете! – прокричал он. – Вы сами признались перед комиссиями.

Лучники, не дожидаясь приказа, сдвинули ряды.

– Я виновен лишь в одном, что не устоял против ваших посулов, угроз и пыток. Утверждаю перед лицом Господа Бога, который внемлет нам, что орден, чьим Великим магистром я являюсь, ни в чем не повинен.

И казалось, Господь Бог действительно внял Великому магистру, ибо голос его, проникая под своды собора, отражался от стен его, эхом вырывался наружу, будто кто-то, незримо присутствующий в церковном приделе, повторял слова Жака де Моле нечеловечески мощным голосом.

– Вы признались в содомском грехе! – кричал Жан де Мариньи.

– Признался под пыткой, – отвечал Моле.

– ...под пыткой, – повторял голос, исходивший, казалось, из самого алтаря.

– Вы признались, что проповедовали ересь!

– Признался под пыткой!

– ...под пыткой, – эхом отозвалось из алтаря.

– Я отрицаю все! – крикнул Великий магистр.

– ...все, – прогремели своды собора.

И вдруг раздался новый голос. Это заговорил Жоффруа де Шарне, приор Нормандии, который тоже обрушился на архиепископа Санского.

– Вы воспользовались нашей слабостью, – сказал он. – Мы пали жертвой вашего сговора, ваших ложных посулов. Нас погубили ваша ненависть и ваши обвинения! Но и я в свой черед свидетельствую перед лицом Господа моего: мы невиновны, и те, кто утверждает противное, совершает грех срамословия.

Поднялся невообразимый шум. Монахи, толпившиеся позади судилища, завопили во всю глотку:

– Еретики! На костер их! На костер еретиков!

Но крик потонул в общем гуле. Движимая чувством сострадания, которое так естественно охватывает народ при виде беззащитного, несчастного, но смелого человека, почти вся толпа приняла сторону тамплиеров.

Судьям грозили кулаками. На площади завязались драки. Из окон соседних домов доносились оскорбительные выкрики.

По приказу Алена де Парея часть лучников построилась цепью и, взявшись за руки, старалась удержать поток людей, грозивший затопить всю паперть и лестницу. Другая половина лучников, выставив пики, преградила путь толпе.

Королевские приставы, вооруженные жезлами с лилией на конце, раздавали удары направо и налево. В суматохе опрокинули клетки с курами, и птицы жалобно кудахтали под ногами бегущих.

Судьи в страхе вскочили с мест. Жан де Мариньи отвел в сторону прево города Парижа, чтобы посоветоваться с ним о происходившем.

– Принимайте любое решение, монсеньор, любое решение, – твердил прево, – только не оставляйте их здесь. Нас всех сметут. Вы не знаете, каковы парижане в гневе.

Жан де Мариньи простер руку, поднял свой епископский посох, желая показать, что хочет говорить. Но никто его не слушал. Со всех сторон неслась по его адресу оскорбительная брань.

– Мучитель! Лжеепископ! Господь тебя еще покарает!

– Говорите же, монсеньор, говорите, – торопил его прево.

Прево трясся за свое положение и за свою шкуру: в его памяти еще свежи были волнения 1306 года, когда было разгромлено немало городских жилищ.

– Двое преступников вторично совершили преступление, вторично впали в ересь, – кричал архиепископ, тщетно напрягая свои голосовые связки. – Они усомнились в справедливости правосудия, церковь отвергает их и предает их в руки королевского суда.

Слова его потонули в вое толпы. Потом все судилище в полном составе, как стая испуганных цесарок, постепенно отступило под своды собора Парижской Богоматери, и церковные врата захлопнулись за ними.

По знаку прево Ален де Парей и группа лучников бросились к собору; подкатила повозка, в нее втокнули подсудимых, подгоняя их тупыми концами пик. Они подчинились насилию с величайшей покорностью. Великий магистр и приор Нормандии лишились последних сил, но в то же время испытывали облегчение. Наконец-то совесть их была спокойна. Оба их спутника так ничего и не поняли. Лучники шли впереди, прокладывая путь печальному кортежу, прево Плуабуш приказал стражникам спешно очистить площадь. Он метался в растерянности, не зная, на что решиться.

– Отвезите узников в Тампль, – крикнул прево Алену де Парей, – я бегу сообщить королю.

Он велел четырем стражникам следовать за ним в качестве телохранителей.

Глава V. Маргарита Бургундская, королева Наварры

Тем временем Филипп д'Онэ добрался до Нельского отеля. Его попросили обождать в прихожей перед личными покоями королевы Наваррской.

Минуты тянулись бесконечно долго. Филипп пытался найти объяснение столь длительному ожиданию – вызвано оно какими-нибудь непредвиденными обстоятельствами или королеве просто нравится его мучить. Очень на нее похоже. Продержат час, а потом объявят, что королева не изволит, мол, его сегодня принять. Он был вне себя. Когда началась их связь, Маргарита обходилась с ним не так. А может быть, и так. Он уже не помнил теперь. Разве в те полные очарования дни, когда он очертя голову пустился на поиски приключений, сам не зная, где начинается любовь и где кончается тщеславие, разве не выстаивал он по пяти часов кряду, лишь бы увидеть свою госпожу, коснуться ее платья кончиками пальцев, услышать назначенное торопливым шепотом свидание.

Времена изменились. Те препятствия, что придают особую прелесть рождающейся любви, становятся тяжкой обузой для любви, уже насчитывающей за собой три долгих года, и нередко ее убивает как раз то, что вызвало на свет. Не быть ни на минуту уверенным во встрече, десятки раз слышать об отмене назначенного свидания, нести бремя придворных обя-

занностей, так часто мешающих встречам, терпеть причуды и капризы Маргариты – все это доводило Филиппа до отчаяния, и в гневе он клялся жестоко отомстить коварной.

А Маргариту, казалось, такое положение вполне устраивало. Она вкушала двойную усладу – обманывать мужа и терзать любовника. Недаром принадлежала она к той породе женщин, которые испытывают влечение к мужчине, лишь видя, как он страдает по их вине, пока сами первые не пресытятся зрелищем этих страданий.

Каждый день Филипп твердил себе, что настоящая любовь не может удовлетворяться случайными встречами, каждый день давал себе слово завтра же порвать с мучительницей.

Но он был слаб, малодушен, а главное, покорен бесповоротно. Подобно игроку, которого затягивает поставленная ставка, Филиппа держали в заколдованном кругу его бывшие мечты, его напрасные подарки, растрченное даром время, его ушедшее счастье. У него не хватало мужества встать из-за стола и твердо заявить: «Я и так уже проигрался в пух».

И вот он стоит в прихожей, прислонясь к косяку окна, и ждет – ждет, когда его наконец соблаговолят впустить. Чтобы обмануть нетерпение, он глядел во двор, где сустились конюхи, собираясь поводить лошадей по маленькой лужайке Пре-о-Клер, глядел, как распахиваются ворота, как слуги выносят мясные туши и корзины овощей.

Нельский отель состоял из двух отдельных строений: из самого отеля, построенного относительно недавно, и из башни, которую возвели при Филиппе-Августе под пару Луврской башне, украшавшей левый берег Сены еще в те времена, когда здесь проходил крепостной вал. Шесть лет назад Филипп Красивый купил отель и башню у графа Амори де Неля и пожаловал ее в качестве резиденции своему старшему сыну, королю Наваррскому.

Сначала башня служила помещением для кордегардии и кладовой. Однако Маргарита приказала привести башню в порядок, чтобы иметь возможность – как заявила она – посидеть одной, поразмыслить, почитать молитвенник, полюбоваться мирным течением реки. Она утверждала, что ей просто необходимо одиночество, и Людовик Наваррский, зная сумасбродный нрав своей супруги, ничуть не удивился ее прихоти. На самом же деле ей требовалось надежное помещение, чтобы без помех принимать там красавца д'Онэ.

Обстоятельство это наполняло душу Филиппа непомерной гордыней. Ради него королева Наваррская велела превратить крепость в приют любви.

А потом, когда его старший брат Готье д'Онэ сделался любовником Бланки, башня стала служить тайным убежищем и для этой молодой четы. Найти благовидный предлог не составляло труда: что удивительного, если Бланка приходит с визитом к своей невестке? Маргарита охотно оказывала ей услуги подобного рода.

Но сейчас, когда Филипп глядел на огромную мрачную башню, каменной громадой возвышавшуюся над рекой, на ее островерхую крышу, узенькие продолговатые окна, он невольно спрашивал себя: а что, если и другие мужчины знали эти быстрые объятия, а может быть, и эти бурные ночи... Даже тот, кто полагал, что насквозь видит Маргариту, и то подчас становился в тупик. А эти пять дней, в течение которых она не давала о себе знать, хотя ничто, казалось бы, не мешало свиданию, разве не были они еще одним лишним доказательством?..

Дверь распахнулась, и камеристка пригласила Филиппа следовать за ней. Грудь у него сжимало как тисками, губы пересохли, но он твердо решил на сей раз не дать себя провести. Когда они дошли до конца длинного коридора и камеристка исчезла, Филипп вошел в длинную низкую опочивальню, тесно заставленную мебелью, всю пропитанную резким ароматом, таким знакомым ароматом жасминовой эссенции, доставляемой купцами с Востока.

Филипп не сразу освоился в этой чересчур сильно натопленной и полутемной комнате. В огромном камине на груди багровых углей пылало целое дерево.

– Мадам... – проговорил Филипп.

Голос, идущий из глубины комнаты, немного хриплый, как бы спросонья, приказал:

– Приблизьтесь, мессир.

Неужели Маргарита была одна? Неужели она осмелилась принимать его в своей опочивальне, без посторонних свидетелей, когда король Наваррский мог находиться поблизости?

И тут же Филипп успокоился, хотя почувствовал горькое разочарование: само собой разумеется, королева Наваррская была не одна. Маргарита лежала в постели, а рядом с ней, полускрытая складками балдахина, сидела на низеньком табурете пожилая придворная дама и осторожно подстригала королеве ногти на ногах.

Филипп сделал шаг вперед и тоном опытного царедворца, противоречившим отчаянному выражению его лица, почтительно сказал, что графиня Пуатье прислала его справиться о здоровье королевы Наваррской, шлет ей поклон и посылает подарок.

Во время его речи Маргарита не пошевелилась, не сказала ни слова. Она сцепила на затылке пальцы своих прекрасных рук и, полускрыв глаза, слушала Филиппа.

Была она маленькая, черноволосая, со смугло-золотистой кожей. Говорили, что у нее самое прекрасное на свете тело, и она отлично знала это.

Филипп не отрываясь смотрел на этот пухлый, чувственный рот, на этот точеный подбородок, на эту полуобнаженную грудь, на эти стройные округлые ноги, с которых придворная дама откинула одеяло.

– Положите подарок на стол, я сейчас посмотрю, – сказала Маргарита.

Она потянулась, зевнула, и Филипп успел разглядеть ее розовый язычок, небо и крохотные белые зубки; зевала Маргарита, как котенок.

Ни разу она не взглянула в сторону Филиппа. А он еле удерживался, чтобы не вспылить. Придворная дама исподтишка, но с любопытством наблюдала за ним, и Филипп подумал, что любое гневное движение выдаст его с головой. Этой придворной дамы он еще никогда не видел. Может быть, Маргарита лишь недавно взяла ее к себе?..

– Должен ли я, – начал он, – отнести ответ графине...

– Ой! – вдруг вскрикнула Маргарита, садясь в постели. – Вы меня оцарапали, милочка.

Придворная дама пробормотала извинение. Тут только Маргарита в первый раз удостоила Филиппа взглядом. У нее были восхитительные глаза, темные, бархатистые, они умели ласкать вещи и людей.

– Передайте моей невестке Пуатье... – произнесла она.

Филипп сделал полшага вперед, желая укрыться от бдительного ока придворной дамы. Он раздраженно махнул рукой, и жест его означал: «Прогоните старуху». Но Маргарита, казалось, ничего не поняла: она улыбалась, но не Филиппу, она улыбалась, глядя пустыми глазами в угол комнаты.

– Нет, не надо, – продолжала она. – Я сейчас напишу ей записку и передам через вас.

Потом обратилась к придворной даме:

– Теперь хорошо. Пора одеваться. Подите приготовьте мне платье.

Старуха вышла в соседнюю комнату, но двери за собой не закрыла, и Филипп снова поймал ее взгляд, устремленный прямо на него.

Маргарита встала с постели, прошла мимо Филиппа и, не разжимая губ, прошептала:

– Люблю!

– А почему мы не виделись пять дней? – спросил он тоже шепотом.

– Какая прелесть, – воскликнула Маргарита, вертя в руках шнур. – У Жанны бездна вкуса, и как я рада ее подарку.

– Почему ты не хотела меня видеть? – шепнул Филипп.

– Шнур прямо-таки создан для моего нового кошелька, – продолжала Маргарита громко. – Мессир д'Онэ, вы можете подождать, пока я напишу письмо?

Она присела к столу, взяла гусиное перо, клочок бумаги и сделала Филиппу знак приблизиться.

Крупными буквами, так что Филипп мог прочесть их из-за ее плеча, Маргарита написала: «Осторожность».

Потом, обратившись к придворной даме, которая возилась в соседней комнате, Маргарита крикнула:

– Мадам де Комменж, приведите ко мне мою дочку – я еще не поцеловала ее нынче утром.

Придворная дама удалилась.

– Лжешь, – сказал Филипп. – Осторожность – прекрасный предлог, чтобы отделаться от старых любовников и обзавестись новыми.

Не то чтобы Маргарита лгала, но она не сказала и правды. Обычно случается так, что к концу связи, когда любовники начинают искать ссоры или устали, они обязательно выдают свою тайну свету, и свет впервые обнаруживает то, что уже приходит к финалу. Возможно, что сама Маргарита случайно обмолвилась, возможно, что слух о гневных выходках Филиппа просочился за пределы узкого кружка, состоявшего из Бланки и Жанны. В привратнике и камеристке, находящихся при ее покоях в башне, в двух этих слугах, привезенных еще из Бургундии, которых Маргарита запугивала и одновременно осыпала золотом, она была уверена, как в самой себе. Но как знать? Маргарита чувствовала, что ей не совсем верят. Король Наваррский не раз намекал на ее победы, и внешне безобидные шутки мужа звучали несколько принужденно. К тому же эта новая придворная дама, эта мадам де Комменж, которую ей навязали неделю назад, чтобы угодить рекомендовавшему ее графу Карлу Валуа, и которая повсюду шныряет в своем вдовьем покрывале... И Маргарита уже не так охотно, как прежде, шла на риск.

– Вы просто несносны! – воскликнула она. – Вас любят, а вы ворчите с утра до ночи.

– Ну что ж, нынче вечером мне не представится случая докучать вам, – ответил Филипп. – Совета сегодня не будет, король нам сам об этом сказал, и вы можете сколько душе угодно успокаивать подозрения вашего супруга.

Маргарита скорчила гримаску, и, будь Филипп не так ослеплен гневом, он понял бы, что по крайней мере с этой стороны ему не грозит опасность.

– А я решил пойти к девицам, – добавил он.

– Вот и прекрасно, – отозвалась Маргарита. – Вы мне расскажете потом, каковы они. Я с удовольствием послушаю.

В глазах ее вспыхнул огонек, кончиком языка она насмешливо облизала губы.

«Распутница, шлюха! – яростно твердил про себя Филипп. – Не знаешь, как к ней подступиться: ускользает, уходит, как вода из пригоршней».

Маргарита подошла к открытому ларцу, достала из него новый кошель, сплетенный из золотых нитей и закрывающийся на три огромных рубина, – этой вещи Филипп еще ни разу не видел.

Позавчера Маргарита получила кошель в дар от своей золовки Изабеллы Английской; с той же тайной оказией точно такие кошельки были вручены Жанне и Бланке. Изабелла просила своих невесток не болтать об этом подарке, ибо, писала английская королева, «супруг мой Эдуард зорко следит за моими тратами, и боюсь, как бы он не рассердился». Принцессы от души удивились столь непривычной любезности со стороны своей золовки. «У нее нелады с мужем, – решили они, – вот она и ищет сближения с нами».

– Чудесно подойдет, – продолжала Маргарита, пропуская шнурок сквозь кольца кошелька, и, повязав шнур вокруг талии, подошла полюбоваться своим отражением в большом оловянном зеркале.

– Откуда у тебя этот кошель? – спросил Филипп.

– Это...

Маргарита чуть было не сказала правду. Но, увидев его перекошенное ревностью лицо, не могла отказать себе в удовольствии помучить возлюбленного.

– Подарили, – отрезала она.

– Кто?

– Угадай.

– Людовик?

– Ну, мой муж на такую щедрость не способен.

– Тогда кто же?

– Угадай.

– Я хочу знать, я имею право знать, – не сдержавшись, воскликнул Филипп. – Подобную вещь может подарить только мужчина, мужчина богатый, и притом влюбленный... думаю, что у него есть основания делать такие подарки.

Маргарита молча вертелась перед зеркалом, она прикладывала кошель то к правому боку, то к левому и наконец передвинула его на середину пояса.

– Это подарок Робера Артуа, – произнес Филипп.

– Ну, мессир, я никогда, если не ошибаюсь, не давала вам поводов подозревать меня в столь дурном вкусе, – возразила Маргарита. – Этот-то верзила, грубиян, от которого разит дичью...

Ни Маргарита, ни Филипп даже не представляли, насколько его слова были близки к истине и какую зловещую роль сыграл Робер Артуа в небывалой щедрости королевы Англии.

– Значит, это Гоше де Шатийон, который волочится за вами, как, впрочем, и за всеми дамами? – начал Филипп.

Маргарита с задумчивым видом склонила набок голову.

– Вы имеете в виду коннетабля? – переспросила она. – Я не замечала, чтобы он мной интересовался. Но поскольку вы сами утверждаете... Что ж, спасибо, что вы навели меня на эту мысль...

– Все равно я узнаю...

– Перебрав весь французский двор.

Ей хотелось добавить: «Не забудьте также и английский двор», но в эту минуту в опочивальню вошла мадам де Комменж, осторожно ведя перед собой малютку. Малолетняя принцесса Жанна медленно переступала ножками, путаясь в длинном бархатном платье, расшитом жемчугом. От матери она унаследовала только выпуклый, круглый, упрямый лоб. У девочки были белокурые волосики, тоненький носик и длинные ресницы, красиво затенявшие светлые глаза. Она могла быть и дочерью короля Наваррского, и дочерью Филиппа д'Онэ. Но и тут Филипп никак не мог добиться у Маргариты прямого ответа, ибо королева Наваррская была слишком хитра, чтобы дать любовнику козырь в таком щекотливом вопросе. Всякий раз, глядя на крошку Жанну, Филипп спрашивал себя: «А вдруг она моя дочь?» И он уже видел, как ему придется когда-нибудь, почтительно склонившись, выслушивать приказания принцессы, которая, возможно, была его собственной дочерью и которая, возможно, взойдет разом на два престола. Ибо Людовик Наваррский, наследный принц Франции, и супруга его Маргарита не имели больше детей.

Маргарита подхватила на руки маленькую Жанну, поцеловала ее в лобик и, убедившись, что девочка хорошо выглядит, передала ее придворной даме со словами:

– Ну вот я ее и поцеловала, теперь можете ее увести.

Мадам де Комменж искоса взглянула на королеву, и Маргарита поняла, что придворная дама отлично знает, почему ее посылали за девочкой и почему ее тут же удаляют. «Необходимо поскорее избавиться от этой старухи», – подумала Маргарита.

В это мгновение в спальню вихрем ворвалась другая придворная дама и осведомилась, не здесь ли находится король Наваррский.

– Вы же знаете, что в этот час его надо искать не у меня, – заметила Маргарита.

– Его повсюду разыскивают, – сказала придворная дама. – Король требует его немедленно к себе. Во дворце сейчас состоится чрезвычайный Совет.

– А по какому поводу? – полюбопытствовала Маргарита.

– Кажется, мадам, по поводу тамплиеров, они отвергли приговор. У собора Парижской Богоматери волнуется народ, повсюду выставлена двойная стража.

Маргарита и Филипп переглянулись. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову, мысль, не имевшая ничего общего с государственными соображениями. Возможно, обстоятельства сложатся так, что Людовику Наваррскому придется провести в Совете почти всю ночь.

– Может статься, что нынешний день закончится не так, как предполагалось, – заметил Филипп.

Маргарита вскинула на него глаза, она решила, что достаточно помучила Филиппа. Он стоял перед ней с обычным своим почтительно-равнодушным видом, но взгляд его молил о счастье. Этот взгляд растрогал Маргариту. Она почувствовала, что любит его так же сильно, как в первые дни их связи.

– Возможно, вы правы, мессир, – бросила она.

Вдруг она поняла, что никто не любит и не будет любить ее сильнее и преданнее, чем Филипп.

Маргарита схватила клочок бумаги, на котором написала слово «осторожность», и бросила его в огонь.

– Я раздумала посылать записку графине Пуатье, – сказала она. – Позже пошлю другую: надеюсь, что смогу сообщить ей более приятные вести. Прощайте, мессир.

Тот Филипп, что вышел из Нельского отеля, ничуть не напоминал того Филиппа, который вошел сюда несколько часов назад. Одного обнадеживающего слова оказалось достаточно, чтобы он снова поверил своей подруге, поверил в самого себя, поверил в жизнь, и серенькое мартовское небо заблестало для него лучами солнца.

«Она меня по-прежнему любит, я несправедлив к ней», – думал он.

Проходя через помещение кордегардии, Филипп нос к носу столкнулся с графом Артуа. Со стороны могло показаться, что великан выслеживает Филиппа, как охотник добычу. Но это было не так. На сей раз Артуа заботило совсем иное.

– Его высочество король Наваррский у себя? – спросил он Филиппа.

– Я слышал, что его ищут для участия в Королевском совете, – ответил Филипп.

– Вас послали известить его?

– Да, – не подумав, ответил Филипп.

И тут же он упрекнул себя за эту бессмысленную ложь, которую ничего не стоило раскрыть.

– И я ищу его с той же целью, – объяснил Артуа. – Его высочество Валуа желает переговорить с ним до начала Совета.

Они расстались. Но эта случайная встреча насторожила гиганта Робера. «Уж не он ли?» – вдруг подумал Артуа, пересекая двор. Час назад он видел Филиппа в Гостиной галерее вместе с Жанной и Бланкой. А теперь встретил его у порога опочивальни Маргариты. «Какую роль играет этот щеголь – роль вестника или состоит любовником при всех троих? Так или иначе, в скором времени я все узнаю».

Робер Артуа не потерял зря времени после своего возвращения из Англии. Каждый вечер он виделся с мадам де Комменж, поступившей в услужение к Маргарите, и из ее рук получал самые подробные сведения. А у Нельской башни поставил верного человека и поручил ему следить в ночные часы за всеми входами и выходами. Силки были расставлены по всем правилам. Если этот павлин попадется, пусть пеняет на себя!

Глава VI. Как происходил Королевский совет

Когда прево города Парижа, запыхавшись, прибежал к королю, он застал своего повелителя в добром расположении духа. Филипп Красивый играл с тремя прекрасными борзыми, которых ему только что прислали в сопровождении следующего послания:

Сир,

племянник мой, в отчаянии от предерзостного своего проступка, сообщил мне, что эти три борзые, коих он вел на сворке, осмелились толкнуть Вас. Сколь бы ни были недостойны эти твари быть преподнесенными Вам в дар, но еще менее достоин я сам владеть ими, после того как коснулись они столь высокой и могущественной особы. Позавчера их прислали мне прямо из Англии. Молю Вас принять их, дабы могли они послужить свидетельством нижайшей преданности Вашего покорного слуги

Спинелло Толомеи.

– Ну и ловкий же человек этот Толомеи, – усмехнулся Филипп Красивый.

Он, который отказывался от любых приносимых даров, не смог устоять перед искушением и взял борзых. Псарня короля Франции по справедливости считалась лучшей в мире, и Толомеи польстил единственной королевской страсти, прислав во дворец таких изумительных по красоте и стати псов.

Пока прево докладывал о событиях, разыгравшихся у собора Парижской Богоматери, король ласкал своих новых питомцев, подымал им брыли, чтобы проверить крепость их белых огромных клыков, осматривал их черные пасти, ощупывал их могучую грудь.

Между королем и животными, и особенно собаками, сразу же устанавливалось тайное и молчаливое согласие. В отличие от людей собаки ничуть его не боялись. И теперь самая крупная из только что введенных в королевские покои борзых, положив морду на колени Филиппа, глядела не отрываясь на нового своего господина.

– Бувиль! – крикнул Филипп Красивый.

Юг де Бувиль, первый королевский камергер, мужчина лет пятидесяти, немедленно явился на зов; волосы его поседели неравномерно – белые пряди самым странным образом перемешались с черными, и поэтому он казался пегим.

– Бувиль, немедленно соберите Малый совет! – приказал Филипп.

Кивком головы отпустив прево и дав ему предварительно понять, что, ежели в Париже произойдут беспорядки, он, прево, поплатится за это своей головой, король остался один со своими псами и своими мыслями.

Самую крупную борзую, которая, видимо, уже успела привязаться к нему, Филипп решил назвать Ломбардцем – в честь ее бывшего владельца, итальянского банкира.

На сей раз Малый совет собрался не как обычно в зале, где творили суд, – в этой просторной зале легко помещалась сотня людей, и там происходили заседания Большого совета. Присутствующие сошлись сегодня в небольшую приемную; в камине жарко пылал огонь.

Вокруг длинного стола уже разместились члены Малого совета, долженствующего решить участь тамплиеров. Король восседал на верхнем конце стола; опершись о подлокотник кресла, он задумчиво подпер подбородок ладонью. По правую его руку поместились Ангерран де Мариньи, коадьютор и правитель королевства, Ногаре, хранитель печати, Рауль де Прель, глава Верховного судилища, и два легиста, исполнявшие обязанности писцов; по левую руку короля сидел его старший сын Людовик, король Наваррский, которого наконец удалось разыскать, и Юг де Бувиль, первый королевский камергер. Только два места оставались незанятыми: одно, предназначавшееся для графа Пуатье, посланного в провинцию по делам королев-

ства, и другое – для принца Карла, младшего сына Филиппа, который еще с утра уехал на охоту и которого так и не сумели найти. Не явился также и его высочество Валуа: за ним уже послали гонца, но он медлил с приходом, ибо имел обыкновение перед каждым Советом придумывать новые козни. Король решил приступить к делу, не дожидаясь Валуа.

Первым заговорил Ангерран де Мариньи. Сиятельный этот вельможа, на шесть лет старше короля, ниже его ростом, но обладавший столь же внушительной осанкой, был отнюдь не благородного происхождения. Этот нормандский горожанин, прежде чем стать сиром де Мариньи, назывался просто Ангерраном Ле Портье; его блистательная карьера вызвала всеобщую зависть, равно как и титул коадьютора, изобретенный специально для него, благодаря которому он стал *alter ego*² короля. Пятидесятидвухлетний Ангерран де Мариньи, грузный мужчина с массивной нижней челюстью и нечистой кожей, приобрел огромное состояние, на которое и жил с истинно королевской роскошью. Он слыл первым ритором Франции и как государственный ум был намного выше своего времени.

В нескольких словах он набросал перед присутствующими полную картину происшествия на паперти собора Парижской Богоматери, пользуясь сведениями, доставленными его младшим братом архиепископом Санским.

– Великий магистр и приор Нормандии переданы церковной комиссией в руки вашего величества, – заключил он. – За вами право принимать любые решения. Будем надеяться, что все идет к лучшему...

Не успел он договорить начатой фразы, как распахнулась дверь. В приемную бурно ворвался его высочество Валуа, брат короля и император Константинопольский. Не удосужившись даже спросить, о чем идет речь, он закричал еще с порога:

– Что я слышу, брат мой? Мессир Ле Портье де Мариньи, – (слово «Ле Портье» он произнес с особым ударением), – считает, что все идет хорошо? Что ж, брат мой, ваши советники довольствуются малым. Хотел бы я знать, когда же, по их мнению, будет плохо?

Казалось, что с приходом Карла Валуа даже сам воздух в приемной пришел в движение. Когда он шагал, вокруг него зарождались вихри. Он был на два года моложе Филиппа, ничем на него не походил, и ледяное спокойствие старшего брата еще резче подчеркивало суетливость младшего.

Порядком облысевший, с толстым носом, с красными прожилками на пухлых щеках – следствие суровой походной жизни и излишнего чревоугодия, – он горделиво носил свое округлое брюшко, одевался с чисто восточной пышностью, которая показалась бы неуместной у любого другого француза. Рожденный в столь непосредственной близости к французскому престолу, этот принц-смутьян никак не мог примириться с мыслью, что трон ускользнул от него, и исколесил весь белый свет в поисках свободного престола. Сначала он носил титул короля Арагонского, но вскоре отказался от этого королевства и всеми правдами и неправдами старался добыть корону императора Священной Римской империи, однако на выборах провалился. По второму браку с Екатериной де Куртене он получил титул императора Константинопольского, но в Византии правил настоящий император Константинопольский – Андроник II Палеолог. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Свою славу Карл заслужил на поле брани, ибо был искусным военачальником – он участвовал в молниеносном походе в Гиень в девяносто седьмом году, во время Тосканской кампании поддерживал гвельфов против гибеллинов, опустошил Флоренцию и выслал за пределы республики некоего рифмоплета, писавшего стихи политического содержания и именовавшегося Данте, за что предшественник нынешнего папы Климента дал ему титул графа Романьи. Валуа, как и король, имел собственный двор и своего собственного канцлера; он лютой ненавистью ненавидел Ангеррана де Мариньи, ненавидел за то, что тот поднялся из низов, за его коадьюторское достоинство, за

² Второе «я» (лат.).

статую, воздвигнутую ему среди статуй коронованных особ, украшавших Гостиную галерею, за его политику, враждебную крупным феодалам, – словом, за все. Он, Валуа, внук Людовика Святого, не мог перенести мысли, что королевством управляет человек, вышедший из народа. На Малый совет он явился весь в голубом, от головы до пят, и от пят до головы был весь расшит золотом.

– Четыре елe живых старца, – продолжал он, – по поводу которых нас уверяли, что судьба их решена... увы, как решена!.. подрывают королевский авторитет – и все идет к лучшему! Народ плюет на церковный суд... Впрочем, хорош суд! Но как бы то ни было, ведь это же церковный суд!.. И все идет к лучшему! Толпа требует смерти, но не их смерти, брат мой, – и все идет к лучшему! Что ж, пусть будет так, брат мой, пусть все идет к лучшему.

Он воздел к небесам свои красивые, униженные перстнями руки и уселся на нижнем конце стола, как бы желая лишний раз показать, что если он не имеет права сидеть одесную короля, то сидеть напротив короля никто ему не запретит.

Ангерран де Мариньи по-прежнему стоял у стола. По губам его пробежала чуть заметная насмешливая улыбка.

– Его высочество Валуа, должно быть, плохо осведомлен, – спокойно произнес он. – Из четырех старцев, о которых он говорил, лишь двое отвергли приговор. А что касается народа, то, судя по имеющимся у меня сведениям, мнения там разделились.

– Разделились! – воскликнул Карл Валуа. – Кому это интересно? Кому надо, чтобы народ вообще имел свое мнение? Только вам, мессир де Мариньи, и по вполне понятным причинам. Полюбуйтесь, какие плоды принесла ваша прелестная выдумка – собирать горожан, мужичье, деревенщину, для того чтобы они, видите ли, одобряли решения короля! Что же удивительного, если народ вообразил, что ему все дозволено?

В каждую эпоху и в каждой стране всегда имеются две партии: партия реакции и партия прогресса. На Малом королевском совете столкнулись два этих течения. Карл Валуа считал себя прирожденным главой крупных вассалов. Он олицетворял собой незыблемость прошлого, и политическое его евангелие держалось на полудюжине принципов, кои он защищал с пеной у рта: право сеньоров вести между собой войны, право ленных властителей чеканить на своих землях собственную монету, возвращение к моральному кодексу рыцарства, безоговорочное подчинение папскому престолу как высшей третейской власти, безоговорочная поддержка всех социальных институтов феодализма. Все эти установления создались и вылились в определенную форму в течение предыдущих веков, но часть их Филипп Красивый по совету Мариньи упразднил, а против остальных вел упорную борьбу.

Ангерран де Мариньи представлял партию прогресса. Основные его идеи сводились к централизации власти, унификации денег, созданию единой администрации, независимости светской власти от Церкви, обеспечению мира на границах государства, достигаемого возведением крепостей с постоянным гарнизоном, и мира внутри государства, достигаемого полным подчинением королевской власти; наконец – процветание ремесел, расширение торговых связей, безопасность торговых путей; эти его замыслы носили название «новые порядки». Однако медаль имела обратную сторону: содержание многочисленной стражи обходилось дорого, и столь же дорого обходилась постройка крепостей.

Отринутый феодальной партией, Ангерран постарался дать королю новую опору в лице сословия, которое одновременно со своим усилением все яснее осознавало свою роль, – сословия богатых горожан. Пользуясь любым благоприятным случаем – отменой налогов или же делом тамплиеров, он десятки раз созывал парижских горожан в королевском дворце в Сите. Точно так же действовал он и в провинциальных городах. Перед глазами он имел пример Англии, где уже функционировала палата общин.

Пока еще не могло быть и речи о том, чтобы малые ассамблеи французских горожан осмелились обсуждать королевские начинания: им лишь сообщались причины, по которым

король принимал то или иное решение, и предоставлялось право безоговорочно таковые одобрить.

Хотя Валуа был отъявленным смутьяном, никто бы не упрекнул его в недостатке ума. Он пользовался любым предлогом, лишь бы опорочить действия Мариньи. Тайная борьба, шедшая до поры до времени подспудно, вдруг несколько месяцев назад стала явной, и ссора на Малом королевском совете, состоявшемся 18 марта, была лишь одним из ее эпизодов.

Яростный спор разгорелся с новой силой, и взаимные оскорбления звучали как пощечины.

– Если бы высокородные бароны, среди коих самым знатным являетесь вы, ваше высочество, – начал Мариньи, – если бы они подчинялись королевским ордонансам, нам не было бы нужды опираться на народ.

– Нечего сказать, прекрасная опора! – воскликнул Валуа. – Неужели волнения тысяча триста шестого года, когда король да и вы сами вынуждены были укрыться в Тампле, за стенами которого бунтовал Париж, неужели даже это не послужило вам хорошим уроком? Предсказываю вам: если так пойдет дальше, горожане будут править сами, не нуждаясь больше в короле, и ордонансы будут исходить не от кого другого, как от ваших обожаемых ассамблей.

В продолжение всего этого спора король упорно молчал, он сидел, подперев подбородок рукой, неподвижно глядя перед собой широко открытыми глазами. Король никогда не моргал, и свойство это делало его взгляд столь странным, что каждый невольно испытывал страх.

Мариньи повернулся к королю, всем своим видом приглашая его вмешаться и положить конец бесполезному спору.

Приподняв голову, Филипп сказал:

– Брат мой, ведь сегодня мы обсуждаем совсем другой вопрос – вопрос о тамплиерах.

– Пусть будет так, – согласился Валуа, хлопнув кулаком по столу. – Займемся тамплиерами.

– Ногаре, – вполголоса произнес король.

Хранитель печати поднялся с места. С первых же минут он стал задыхаться от ярости, которая ждала только подходящего случая, дабы излиться наружу. Фанатичный защитник общественного блага и государственных интересов, он считал дело тамплиеров своим личным делом и вносил в него ту страсть, которая не знает ни сна, ни отдыха, ни границ. Впрочем, высоким своим положением Ногаре был обязан именно этому процессу, ибо во время трагического заседания Совета в 1307 году тогдашний королевский хранитель печати архиепископ Нарбоннский отказался скрепить ордер на арест тамплиеров, и король, взяв печать из недостойных рук, вручил ее тут же Ногаре. Костистый, черномазый, с вытянутым длинным лицом и близко посаженными глазами, он все время нервно перебирал пуговицы полукафтана или же сосредоточенно грыз свои плоские ногти. Он был страстен, суров, жесток, как коса в руках смерти.

– Сир, произошло чудовищное, ужасное событие, о котором страшно подумать, страшно даже слышать, – заговорил он скороговоркой, но приподнятым тоном, – оно свидетельствует о том, что всякое милосердие, всякое снисхождение к этим пособникам дьявола есть слабость, и слабость эта обращается против нас.

– Бесспорно, что милосердие, к которому нас призывали вы, брат мой, и о котором просила меня в своем послании моя дочь, королева Англии, милосердие это отнюдь не принесло добрых плодов, – сказал Филипп, поворачиваясь к Валуа. – Продолжайте, Ногаре.

– Этим смрадным псам оставили жизнь, коей они нимало не заслуживают. И вместо того чтобы благословлять судей, они воспользовались их милосердием, дабы поносить Святую церковь и короля! Тамплиеры – завзятые еретики...

– Были, – бросил Карл Валуа.

– Что вы изволили сказать, ваше высочество? – нетерпеливо переспросил Ногаре.

– Я сказал «были», мессир, ибо, если память мне не изменяет, из пятнадцати тысяч тамплиеров, насчитывавшихся во Франции, в ваших руках имеется всего лишь четверо... правда, все четверо достаточно докучливые субъекты, тут я с вами вполне согласен: подумать только, после семи лет следствия они еще осмеливаются утверждать, что невиновны! Помнится, что прежде, мессир Ногаре, вы были проворнее в исполнении своих обязанностей, ведь вы умели когда-то с помощью одной оплеухи убирать пап с престола.

Ногаре задрожал, и его лицо, окаймленное серебристо-белой бородой, угрожающе потемнело. Это он низложил папу Бонифация VIII, восьмидесятишестилетнего старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола. Враги канцлера пользовались любым случаем, чтобы напомнить ему об этом эпизоде. За излишний пыл Ногаре был отлучен от церкви. Филиппу Красивому пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить папу Климента V снять отлучение.

– Нам хорошо известно, ваше высочество, – язвительно парировал Ногаре, – что вы всегда поддерживали тамплиеров. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы рассчитывали на их войско, дабы отвоевать, пусть ценой разорения Франции, Константинопольский престол, который, увы, лишь химера и на который вам до сих пор не удалось сесть.

Отплатив оскорблением за оскорбление, Ногаре успокоился, и бурно-красное лицо его приняло обычный цвет.

– Проклятье! – завопил Валуа, вскакивая с кресла, которое опрокинулось на пол.

В ответ на раздавшийся грохот из-под стола вдруг послышался собачий лай. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности, кроме Филиппа Красивого и короля Людовика Наваррского, который оглушительно расхохотался. Это залаяла та самая борзая, которую Филипп Красивый привел с собой; пес еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам.

– Людовик, да помолчите вы, – сказал Филипп Красивый, устремив на сына ледяной взгляд. Потом, щелкнув пальцами, позвал: – Ломбардец, ко мне! – и, ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.

Людовик Наваррский, уже в те времена прозванный Сварливым, человек неуживчивый и скудный разумом, потупил голову, стараясь подавить приступ неудержимого и неуместного смеха. Людовику исполнилось двадцать пять лет, но по умственному развитию он ничем не отличался от семнадцатилетнего юноши. От отца он унаследовал светлые глаза, но бегающий взгляд Людовика выражал слабость; волосы его в отличие от отцовских кудрей были какого-то тусклого цвета.

– Сир, – начал Карл Валуа, когда Бувиль, первый королевский камергер, пододвинул ему кресло, – государь, брат мой, Бог свидетель, что я радею лишь о ваших интересах и вашей славе.

Филипп Красивый медленно повернул глаза к брату, и Карл Валуа вдруг почувствовал, что его оставляет обычная самоуверенность. Тем не менее он продолжал:

– Единственно о вас, брат мой, пекусь я, когда вижу, как с умыслом разрушают то, что составляет силу королевства. Когда не будет больше ни ордена тамплиеров, ни рыцарства, как сможете вы предпринять Крестовый поход, буде такой потребуется?

На вопрос Валуа ответил Марини.

– Под мудрым правлением нашего короля, – сказал он, – нам оказались не нужны Крестовые походы как раз потому, что рыцарство хранило спокойствие, ваше высочество, и не было нужды посылать его в заморские страны, с тем чтобы рыцари могли там израсходовать свой пыл.

– А вера, мессир, христианская вера!

– Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило государственную казну, ваше высочество, обогатило куда больше, чем все те торговые и коммерческие операции, что велись под при-

крытием священных хоругвей, а для беспрепятственного движения товаров не нужны Крестовые походы.

– Мессир, вы говорите, как безбожник!

– Я говорю, ваше высочество, как верный слуга престола.

Король легонько пристукнул по столу ладонью.

– Брат мой, – снова обратился он к Карлу, – напоминаю вам, что сегодня речь идет о тамплиерах, и только о них... Прошу вашего совета на сей счет.

– Совета?.. Совета?.. – озадаченно повторил Валуа.

Когда речь шла о переустройстве вселенной, откуда только брались у него слова, но ни разу еще он не высказал толкового мнения по тому или иному вопросу политики.

– Что ж, брат мой, пусть те, что так прекрасно провели дело тамплиеров, – он кивнул на Мариньи и Ногаре, – пусть они и подскажут вам, как нужно его завершить... Я же...

И Карл Валуа повторил пресловутый жест Пилата, умывающего руки.

Хранитель печати и коадьютор обменялись быстрым взглядом.

– Ну а ваше мнение, Людовик? – спросил король сына.

При этом неожиданном вопросе Людовик Наваррский даже вздрогнул; ответил он не сразу, во-первых, потому, что никакого мнения у него не имелось, а во-вторых, потому, что усердно сосал медовую конфетку и она, как на грех, завязла у него в зубах.

– А что, если передать дело тамплиеров папе? – выдавил он из себя наконец.

– Замолчите, Людовик, – оборвал его король, пожимая плечами.

Мариньи сокрушенно возвел глаза к небу.

Передать Великого магистра в руки папы значило начинать все с самого начала, все поставить под вопрос – и суть процесса, и способы его ведения, отказаться от всех решений, с таким трудом вырванных у соборов, зачеркнуть семь лет усилий и открыть путь новым распрям.

«И подумать только, что мой трон наследует вот такой глупец, – сказал себе Филипп Красивый, пристально глядя на сына. – Будем же надеяться, что к тому времени он поумнеет!»

В стекла, схваченные свинцовым переплетом, надсадно барабанил мартовский дождь.

– Бувиль, – окликнул Филипп камергера.

Юг де Бувиль решил, что король спрашивает его мнение. Первый королевский камергер был сама преданность и верность, само повиновение, сама услужливость, но природа обделила его способностью мыслить самостоятельно. И прежде всего он старался угадать, какой ответ будет угоден его величеству.

– Я думаю, сир, – забормотал он, – я думаю...

– Велите принести свечи, – прервал его король, – ничего не видно. Ваше мнение, Ногаре?

– Те, кто впал в ересь, заслуживают кары, применяемой к еретикам, и притом безотлагательной, – твердо произнес хранитель печати.

– Ну а народ? – спросил Филипп Красивый, переводя взор на Мариньи.

– Народное волнение уляжется, коль скоро те, кто является причиной беспорядков, перестанут существовать, – отозвался коадьютор.

Карл Валуа решил сделать последнюю попытку.

– Брат мой, – начал он, – осмелюсь напомнить вам, что Великий магистр причислен к рангу царствующих особ, и лишить его головы – значит посягать на тот самый принцип, который охраняет королевские головы...

Но под ледяным взглядом Филиппа начатая фраза застряла у него в горле.

Наступила минута тягостного молчания, затем Филипп Красивый заговорил:

– Жак де Моле и Жоффруа де Шарне нынче вечером будут сожжены на Еврейском острове против дворца. Они взбунтовались публично, следовательно и кара будет публичной. Я все сказал.

Он поднялся, и присутствующие последовали его примеру.

– Вы составите приговор, мессир де Прель. Предлагаю вам, мессиры, лично присутствовать при казни и нашему сыну Карлу тоже быть там. А предупредите его вы, сын мой, – закончил он, взглянув на Людовика Наваррского.

Потом он позвал:

– Ломбардец!

И вышел, сопровождаемый собакой.

На этом Совете, участие в котором принимали два короля, один император, один вице-король, были осуждены на смерть два человека. Но ни на минуту никто не подумал, что речь идет о двух человеческих жизнях – речь шла лишь о двух принципах.

– Ну, племянник, – сказал Карл Валуа, обращаясь к Людовику Наваррскому, – сегодня мы с вами присутствовали при похоронах рыцарства.

Глава VII. Башня любви

Спускалась ночь. Слабый ветерок далеко разносил запахи влажной земли, тины и весенних хмельных соков, гнал по беззвездному небу большие черные тучи.

Лодка, отчалившая от берега у Луврской башни, медленно скользила по Сене, по ее блестящим, словно старая, хорошо начищенная кираса, водам.

На корме сидели два пассажира, старательно кутавшие лица в высокие воротники длинных плащей.

– Ну и погода нынче, – начал перевозчик, неторопливо орудуя веслами. – Проснешься утром – туману, туману, в двух шагах не видать. А после терции – солнышко! Говорят: весна идет. Вернее сказать, что весь пост дожди будут лить. А сейчас, гляди, ветер поднялся, и еще покрепчает, это поверьте моему слову. Ну и погода!

– Поторопитесь, почтенный, – сказал один из пассажиров.

– И так уж стараюсь. А все потому, что стар становлюсь: шутка ли – пятьдесят три года на архангела Михаила стукнет! Куда же мне с вами сравняться, молодые мои господа, – ответил перевозчик.

Этот одетый в лохмотья старик даже с каким-то удовольствием сетовал на свою горькую судьбину.

– Значит, к Нельской башне держать путь? – спросил он. – А место-то там для причала найдется?

– Да, – ответил все тот же пассажир.

– Я потому спрашиваю, что мало кто туда ездит, безлюдное местечко.

Слева было видно, как на Еврейском острове перебегают огоньки, а чуть подалее светились окна дворца. Множество лодок устремлялось в том направлении.

– А разве вы, господа мои хорошие, не желаете полюбоваться, как тамплиеров припекать будут? – не унимался гребец. – Говорят, сам король туда пожелует с сыновьями. Верно или нет?

– Говорят, – отозвался пассажир.

– А принцессы будут, нет ли?

– Не знаю... Конечно будут, – ответил пассажир, сердито отвернувшись и давая тем знать, что разговор окончен.

Потом, нагнувшись к своему спутнику, он процедил сквозь зубы:

– Не нравится мне этот старик, уж слишком болтлив.

Но тот равнодушно пожал плечами. Потом, помолчав немного, шепнул:

– А кто тебе дал знать?

– Как обычно, Жанна.

– Милая графиня Жанна, как мы ей обязаны.

С каждым взмахом весел все быстрее приближалась Нельская башня, вздымавшая к темным небесам свой темный силуэт.

Тот из спутников, что был выше ростом и вступил в разговор вторым, положил руку на плечо соседу.

– Готье, – прошептал он, – нынче вечером я так счастлив. А ты?

– И я, Филипп, тоже.

Так беседовали меж собой братья д'Онэ, Готье и Филипп, спеша на свидание с Бланкой и Маргаритой, которые, узнав, что их супругов задержит до ночи король, тотчас же назначили своим возлюбленным свидание. И, как обычно, посредницей между юными парами была графиня Пуатье.

Филипп д'Онэ с трудом сдерживал рвущиеся через край радость и нетерпение. Все утренние горести были забыты, все подозрения вдруг показались нелепыми и пустыми. Ведь сама Маргарита позвала его; через несколько минут он будет держать ее в объятиях, ради него она подвергает себя опасности, и ни один мужчина на свете, клялся он про себя, не сравнится с ним в нежности, в пылкости, в беспечной веселости.

Лодка пристала к откосу, на котором высилась огромная стена башни. Весь откос был покрыт слоем жирной тины, принесенной недавним паводком.

Лодочник помог братьям выйти на берег.

– Значит, решено, почтенный, – сказал Готье, – ты будешь нас здесь ждать, только далеко не отплывай и смотри, чтобы тебя не увидели.

– Если прикажете, мессир, то хоть всю свою жизнь буду вас поджидать, только бы денежки шли.

– Хватит и половины ночи, – ответил Готье.

Он швырнул старику мелкую серебряную монету – сумму, в десять раз превышающую обычную плату за перевоз, и столько же пообещал дать за обратный путь. Старик низко поклонился.

Стараясь не поскользнуться, не забрызгаться, братья д'Онэ благополучно добрались до потайной двери, находившейся, к счастью, неподалеку от берега, и постучали условным стуком. Дверь бесшумно распахнулась.

– Добрый вечер, мессир, – приветствовала их камеристка Маргариты, та самая, которую королева Наваррская привезла с собой из Бургундии.

В руке она держала огарок свечи и, впустив гостей в прихожую и снова заложив засов, пригласила их следовать за собой по винтовой лестнице.

Огромные покои, помещавшиеся во втором этаже башни, куда ввела братьев д'Онэ поверенная Маргариты, окутывал полумрак, и только в камине с навесом жарко пылали поленья, разливая вокруг дрожащий свет. Однако отблески пламени не могли побороть мглу, которая притаилась под куполообразным потолком, опиравшимся на двенадцать стрельчатых арок.

И здесь, как в опочивальне Маргариты, безраздельно царил запах жасминовой эссенции: он исходил от затканых золотом тканей, драпировавших стены, от ковров, от ягуаровых шкур, накинутах на низкие, по восточной моде, кровати.

Принцессы еще не сошли вниз. Камеристка пошла предупредить их.

Братья д'Онэ сняли плащи, приблизились к камину, и оба одинаковым жестом машинально протянули руки к пылающему огню.

Готье д'Онэ, старше Филиппа двумя годами, был бы копией брата, если бы не более низкий рост, более мощный торс и более светлая шевелюра. У него была крепкая шея и розовые щеки; жизнь казалась ему забавной шуткой. В отличие от Филиппа его не терзали страсти. Он был женат – и женат удачно – на девице Монморанси, от которой прижил троих детей.

– Никак не пойму, – начал он, подвигаясь ближе к камину, – почему выбор Бланки пал именно на меня и вообще зачем ей понадобилось иметь любовника. Маргарита – другое дело,

тут все ясно. Достаточно взглянуть на Людовика Наваррского – ходит, глаз не подымет, ногами загребает, грудь впалая – и посмотреть на тебя. Тут и сомнений никаких быть не может. И потом, нам ведь кое-что известно!

Готье намекал на супружеские тайны королевской четы – на недостаток любовного пыла у Людовика и глухую ненависть, существовавшую между супругами.

– Но Бланка!.. Этого я никак понять не могу, – продолжал Готье д'Онэ. – Муж у нее красавец, гораздо красивее меня... Не возражай, пожалуйста, Филипп, я-то знаю, что он красивее; он как две капли похож на своего отца... любит ее и, что бы Бланка ни говорила, уверен, что и она его любит. Тогда зачем же все это? Всякий раз, когда я прихожу к ней на свидание, я себя спрашиваю – откуда мне такая удача?

– Ей, видишь ли, не хочется отстать от Маргариты, – ответил Филипп.

В коридоре, соединяющем башню с отелем, раздались легкие шаги и приглушенный шепот, и в дверях показались принцессы.

Филипп бросился к Маргарите, но тут же остановился как вкопанный. На поясе своей милой он заметил золотой кошель, усыпанный драгоценными камнями, вид которого поверг его этим утром в такой гнев.

– Что с тобой, Филипп, милый? – спросила Маргарита, протягивая к нему руки и подставляя для поцелуя свое хорошенькое личико. – Разве нынче вечером ты не чувствуешь себя счастливым?

– Конечно чувствую, – ответил Филипп ледяным тоном.

– Так в чем же тогда дело? Какая муха тебя укусила снова?

– Это чтобы меня подразнить? – произнес Филипп, указывая на кошель.

Маргарита рассмеялась воркующим смехом.

– До чего же ты глуп, до чего же ты ревнив, до чего же ты восхитителен! Неужели ты до сих пор не понял, что все это игра? Дарю тебе этот несчастный кошель – надеюсь, теперь ты успокоишься. Поймешь, что это не был дар любви.

Маргарита поспешно отцепила кошель от пояса и продела в ушки пояса Филиппа, который стоял как громом пораженный. Он отвел было руку королевы.

– Нет-нет, я так хочу, – сказала Маргарита. – Теперь это действительно дар любви, но предназначается он тебе. Не вздумай отказываться. Ничто не достаточно хорошо для моего хорошего Филиппа. Но только не спрашивай, откуда у меня этот кошель, иначе я вынуждена буду тебе сказать всю правду. Могу лишь поклясться, что подарил мне его не мужчина. Впрочем, посмотри сам, и у Бланки точно такой же, – добавила она, обернувшись к невестке. – Бланка, покажи, пожалуйста, свой кошель Филиппу. Я свой ему подарила.

Бланка лежала на низенькой кровати, стоявшей в самом темном углу залы. Готье, опустившись на колени, осыпал поцелуями ее шею и руки.

– Держу пари, – шепнула Маргарита на ухо Филиппу, – что через минуту твой брат получит такой же подарок.

Приподнявшись на локте, Бланка спросила:

– А может быть, Маргарита, ты поступила неосторожно, да и имеем ли мы вообще право?

– Конечно имеем, – прервала ее Маргарита. – Ведь, кроме Жанны, никто не видел и никто не знает, от кого мы их получили.

– В таком случае, – воскликнула Бланка, – я не желаю, чтобы мой Готье был любим меньше, чем твой Филипп, и чтобы твой Филипп был наряднее моего Готье.

Она тоже сняла с пояса кошель, и Готье, не чинясь, принял подарок, поскольку его принял Филипп.

Маргарита взглянула на Филиппа, словно говоря: «Ну, что я сказала?» Филипп улыбнулся в ответ. «Какая удивительная эта Маргарита», – подумал он.

Филипп до сих пор не мог ни понять, ни разгадать своей любовницы. Неужели та самая Маргарита, жестокая, кокетливая, вероломная Маргарита, что сегодня утром потешалась над ним, поджаривала его, словно фазана на вертеле, неужели это она подарила ему сейчас драгоценный кошель, цена которому полтораста ливров, и, подарив, замерла в его объятиях, нежная, трепещущая, покорная.

– Иной раз мне кажется, что я так сильно люблю тебя потому, что не понимаю, – шепнул Филипп.

Ни один самый искусный комплимент не мог так польстить самолюбию Маргариты. Она отблагодарила Филиппа, припав к его шее долгим поцелуем. И вдруг вырвалась из его объятий, насторожилась и воскликнула:

– Слышите? Тамплиеров повели на костер!

Глаза Маргариты оживились, заблестали почти болезненным любопытством. Схватив Филиппа за руку, она увлекла его к окну – высокой бойнице, прорезанной в толще стены наподобие воронки, и распахнула раму.

В комнату ворвался оглушительный шум.

– Бланка, Готье, идите сюда скорее! – позвала Маргарита.

Но Бланка отказалась идти. Счастливым, задышающим голосом она проворковала:

– Нет, не хочу, мне и здесь хорошо.

Уже давно обе принцессы и их любовники отбросили всякую стыдливость. У них вошло в привычку предаваться любовным играм в присутствии друг друга. Если Бланка иногда и отводила взор, старалась укрыть свою наготу в темных углах зала, то Маргарита, наоборот, вдвойне наслаждалась любовью, созерцая чужую любовь и творя свою на глазах у других.

Но сейчас она не могла оторваться от окна, увлеченная зрелищем, развертывавшимся посреди Сены. Там внизу, на Еврейском острове, стояла тесным кольцом сотня лучников, каждый держал в руке пылающий факел: языки пламени, колеблемые ветром, сливались в сплошную ограду огня, за ней можно было различить огромную кучу дров и хвороста, вокруг которой сутились подручные палача, скатывая с костра лишние поленья. Еврейский остров, представлявший собой в обычное время луг, где мирно паслись коровы и козы, был запружен зеваками; а по реке скользили десятки лодок – это запоздавшие торопились поспеть на казнь.

К правому берегу острова причалила лодка значительно длиннее всех прочих, битком набитая вооруженными людьми. Две серые фигурки в каких-то странных головных уборах сошли на берег, предшествуемые монахом, который нес в руках распятие. Гул голосов стал громче. Почти в ту же минуту в большой застекленной галерее, помещавшейся в конце дворцового сада, у самой воды, загорелся свет. На освещенном стекле вырисовалось несколько силуэтов, и рев толпы мгновенно смолк. Это король вместе с членами Королевского совета пришел посмотреть на казнь.

Вдруг Маргарита захохотала долгим, бесконечно долгим пронзительным смехом.

– Почему ты смеешься? – спросил Филипп.

– Потому что там Людовик, – ответила она. – Будь посветлее, он бы меня увидел...

Глаза ее блеснули, вокруг выпуклого лба развевались темные кудряшки. Быстрым движением она спустила лиф платья, показав свои великолепные смуглые плечи, затем сбросила одежду прямо на пол и, обнаженная, осталась стоять перед окном, словно хотела, презрев пространство и мрак, подразнить своего ненавистного мужа. Взяв руки Филиппа в свои, она положила их себе на бедра.

В глубине зала, где сгустилась полумгла, лежали в объятиях друг друга Бланка и Готье, и обнаженное тело Бланки отливало перламутром.

Оттуда, снизу, с острова, окруженного водами Сены, снова послышался рев толпы. Это тамплиеров, связанных, ввели на костер, который должен был запалать через секунду.

Ночная прохлада лилась в открытое окно; Маргарита вздрогнула и подошла к камину. Она сосредоточенно глядела на горящие угли, всем телом впивала их тепло, но отступила под непереносимой лаской огня. Языки пламени бросали на ее смуглую кожу дрожащие отсветы.

– Их сейчас сожгут, они сгорят, – произнесла она хриплым, чуть задыхающимся голосом, – а мы тем временем...

Ее взгляд старался проникнуть в самое пекло огня, словно Маргарита желала опьянить себя картиной ада.

Потом она резко обернулась и, глядя в лицо Филиппа, отдалась ему, как нимфа отдается в лесу фавну.

Пламя камина отбрасывало на стену их огромные тени, касавшиеся головами сводчатого потолка.

Глава VIII. «Призову на суд Божий»

Дворцовый сад отделялся от Еврейского острова узкой протокой. Костер сложили как раз напротив королевской галереи – отсюда Филипп Красивый мог без помех наслаждаться зрелищем.

Все новые и новые толпы зевак прибывали к месту казни, они заполнили оба берега реки, все свободное пространство на островке. Этим вечером парижские лодчики изрядно подзаработали.

Но лучники стояли нерушимым строем; стражники врезались в самую гущу толпы; отряды вооруженной стражи были расставлены на всех мостах и в конце всех улиц, выходивших к Сене. Итак, с этой стороны опасности не предвиделось.

– Мариньи, можете поздравить прево, – обратился Филипп к своему коадьютору, который ни на шаг не отходил от королевской персоны.

Еще утром приближенные короля боялись, что волнение может перерасти в бунт, и вдруг все кончилось народным гуляньем, ярмарочным весельем, театральным зрелищем, которым монарх решил угостить свою столицу. Да и впрямь все здесь напоминало празднество. Рядом с почтенными горожанами, которые привели посмотреть на тамплиеров всех своих чад и домочадцев, толкались нищие, сюда сбежались развращенные и насурьмленные непотребные девки, покинув улочки, прилегающие к собору Парижской Богоматери, где процветала торговля любовью. В ногах у взрослых путались мальчишки, норовя пробраться в первые ряды. Евреи с желтым кружком на плаще боязливо жались друг к другу – они тоже пришли посмотреть на казнь, которая на сей раз миновала их. Прекрасные дамы в подбитых мехом накидках, искательницы сильных впечатлений, льнули к своим кавалерам, время от времени истерически вскрикивая.

Ночь выдалась холодная, с реки порывами налетал ветер. Пламя факелов, отражавшееся в воде, бежало по ее зыби длинными багровыми струйками.

Мессир Ален де Парей, в шлеме с поднятым забралом, храня свой обычный скучающий вид, красовался на коне перед строем лучников.

Костер сложили выше человеческого роста; главный палач и его подручные в красных кафтанах и с капюшонами на голове, с озабоченным видом людей, которым хочется выполнить свое дело как можно лучше, суетились вокруг, подравнивали сложенные дрова, готовили охапки хвороста про запас.

На вершине костра стояли привязанные к столбам Великий магистр ордена тамплиеров и приор Нормандии, лицом к королевской галерее. Для вящего бесчестия на голову им водрузили бумажные митры, какие обычно надевают на еретиков. Ветер играл их длинными бородами.

Монах, которого зоркая Маргарита заметила из окна Нельской башни, протягивал осужденным огромное распятие и обращался к ним с последними увещеваниями. Притихшая толпа прислушивалась к его словам.

– Сейчас вы предстанете перед лицом Господа, – надрывно кричал монах. – Признайтесь, пока еще не поздно, в ваших прегрешениях и покайтесь... В последний раз заклинаю вас!

Осужденные, неподвижно стоя на самой верхушке костра, уже отрешившиеся от всех земных забот, словно вознесенные в черное небо над черной землей, не отвечали на его заклинания. Они молча, с нескрываемым презрением смотрели на монаха, беснующегося где-то внизу.

– Не хотят исповедоваться, не желают раскаиваться, – прошел по толпе шепот.

Тишина стала еще напряженнее, еще глубже. Монах, бормоча молитвы, опустился на колени. Главный палач взял из рук своего подручного пучок горящей пакли и помахал ею в воздухе, чтобы огонь сильнее разгорелся.

От едкого дыма чихнул какой-то ребенок, но звонкая пощечина тут же его усмирила.

Капитан Ален де Парей повернулся к королевской галерее, словно ожидая знака, и все головы, все взоры медленно, как по команде, обернулись в ту же сторону. И каждый невольно затаил дыхание.

Филипп Красивый стоял возле балюстрады; члены Королевского совета почтительно столпились вокруг него. В неверном свете факелов четко вырисовывались их лица, и вся группа придворных напоминала барельеф, высеченный на башенной стене из розового камня.

Даже осужденные подняли глаза к королевской галерее. Взгляды Филиппа и Великого магистра скрестились, будто меряясь силой, застыли, не отрывались друг от друга. Никто не знал, какие мысли, чувства, воспоминания проносятся в эту минуту в головах двух заклятых врагов. Но толпа инстинктивно почувствовала, что происходит нечто непередаваемо ужасное – так нечеловечески страшен был этот молчаливый поединок между всемогущим государем, окруженным свитой исполнителей его воли, и Великим магистром рыцарства, привязанным к позорному столбу, между двумя этими людьми, которых право рождения и случайности Истории вознесли над всеми остальными.

Быть может, Филипп Красивый, движимый высшим состраданием, помилует осужденных? Быть может, Жак де Моле смирится наконец и попросит пощады?

Король махнул рукой, и на пальце его сверкнул крупный изумруд. Ален де Парей точно таким же жестом махнул палачу, и палач сунул пучок горящей пакли под хворост, сложенный у подножия костра. Из тысячи грудей вырвался вздох – вздох облегчения и ужаса, вздох удовлетворения, страха и тоски, вздох почти сладострастного отвращения.

Раздались женские рыдания. Дети пугливо жались к материнским юбкам. Какой-то мужчина крикнул:

– Я же тебе говорил, не надо ходить!

Густые завитки дыма медленно подымались от костра, и ветер гнал их в направлении королевской галереи.

Его высочество Валуа закашлялся и продолжал упорно кашлять, как бы желая показать присутствующим, что он лично не может дышать таким воздухом. Он попятился и, встав между Ногаре и Мариньи, произнес:

– Мы тут задохнемся раньше, чем тамплиеры сгорят. Вы могли бы по крайней мере распорядиться запасти сухих дров.

Никто не ответил на это замечание. Ногаре, весь напрягшись, упивался своим торжеством, глаза его блестели. Этот костер увенчивал семь лет борьбы и утомительных трудов, он был завершением сотни речей, произнесенных ради того, чтобы убедить, сотен страниц, испитых ради того, чтобы доказать. «Ну вот, теперь горите, жарьтесь, – думал он. – Не все вам торжествовать надо мной, я пересилил – и вы побеждены».

Ангерран де Мариньи в подражание королю старался сохранять полное спокойствие и смотреть на казнь лишь как на государственную необходимость. «Так надо, так надо», – твердил он про себя. Но при виде этих людей, которым суждено было умереть, он невольно думал о смерти: двое обреченных вдруг перестали в его глазах быть лишь политической абстракцией. Пусть они объявлены людьми злокозненными, опасными для государства, они все равно живые существа из плоти и крови, они мыслят, страдают, мучаются так же, как и все остальные, как он сам. «Проявил бы я на их месте такое же мужество?» – спрашивал себя Мариньи, невольно восхищаясь этими старцами. При одной мысли, что он может очутиться на их месте, по спине у него пробежала дрожь. Но он мгновенно овладел собой. «Что за дурацкие мысли лезут мне в голову?» – шептал он про себя. – Конечно, и я, как любой смертный, могу заболеть, да и мало ли что может со мной случиться, но только не это. От этого я защищен. Я лицо столь же неприкосновенное, как и сам король...»

Но ведь и Великий магистр семь лет назад мог ничего не бояться, и не было во всей Франции человека, обладавшего большим могуществом.

Добряк Юг де Бувиль, королевский камергер с пегими волосами, неслышно творил про себя молитвы.

Ветер резко переменял направление, и дым, с каждой минутой становясь все гуще, поднялся столбом, окутал тамплиеров, скрыл их от глаз толпы. Слышно было только, как надсадно кашляли и судорожно икали два старика, привязанные к позорному столбу.

Вдруг Людовик Наваррский, потирая покрасневшие веки, разразился идиотским смехом.

Его брат Карл, младший сын Филиппа Красивого, стоял, отвернувшись от костра. Зрелище казни, очевидно, доставляло ему страдание. Карлу исполнилось двадцать лет; это был стройный блондин с нежным румянцем на щеках – все, кто помнил короля в годы его юности, утверждали, что сын похож на Филиппа как две капли воды, однако облику Карла не доставало отцовской мужественности, спокойной властности – словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство, бесспорно, было, не было лишь отцовской твердости.

– Я заметил в окнах Нельской башни свет, – вполголоса обратился Карл к Людовику.

– Должно быть, стражники тоже хотят посмотреть на казнь.

– Я охотно поменялся бы с ними местами, – пробормотал Карл.

– Как так? Разве тебе не весело смотреть, как на костре поджаривают крестного отца Изабеллы?

– Ах, я и забыл, что Моле крестил нашу сестру, – все так же вполголоса ответил Карл.

– По-моему, зрелище презабавное, – отозвался Людовик Наваррский.

– Людовик, замолчите, – приказал король, которого отвлекало шушуканье сыновей.

Желая отделаться от чувства мучительной неловкости, молодой принц Карл постарался направить свои мысли по более приятному руслу. И он стал думать о своей жене Бланке, о чудесной улыбке своей Бланки, о прелестях Бланки, о ее руках, которые легко лягут на его плечи и прогонят прочь, заставят позабыть это страшное зрелище. Как она любит его, сколько счастья излучает вокруг. Вот если бы только их двое детей не умерли совсем маленькими... Ничего, у них еще будут дети, и тогда уже ничто не омрачит их жизнь... Очарование и душевный, ничем не нарушаемый покой... Бланка сказала ему, что нынче вечером пойдет посидеть с Маргаритой. Сейчас она, должно быть, уже вернулась домой. Не забыла ли она захватить меховую накидку, взяла ли с собой достаточно стражников?

Рев толпы прервал ход его мыслей, и Карл вздрогнул всем телом. Костер наконец разгорелся. По приказу Алена де Парей лучники потушили факелы, бросив их в мокрую траву, и теперь только пламя костра рассеивало мрак.

Первым огонь достиг приора Нормандии. Когда языки пламени лизнули его ноги, он каким-то отчаянным движением подался назад, широко открыл рот, надеясь вобрать побольше воздуха, такого желанного сейчас воздуха. Несмотря на веревки, которые удерживали его у

столба, он перегнулся чуть ли не вдвое; от этого движения с головы свалилась бумажная митра, и зрители заметили огромный белый рубец, шедший поперек багрового лица. Пламя плясало вокруг. Потом приора Нормандии заволокло густой завесой дыма. Когда завеса рассеялась, Жоффруа де Шарне был уже весь охвачен огнем, он вопил, он задыхался, он рвался прочь от рокового столба, который зашатался у основания. Великий магистр крикнул ему что-то, но рев толпы, желавшей заглушить свой ужас, покрывал все звуки, и только пробравшиеся в первые ряды разобрали слово «брат» и еще раз «брат».

Подручные палача, расталкивая народ, хлопотали вокруг костра – кто бегом подносил поленья, кто ворошил уголья длинными железными крючьями.

Людювик Наваррский, обычно понимавший слова собеседника лишь спустя некоторое время, спросил брата:

– Значит, ты говоришь, что видел в Нельской башне свет?

И нахмурился, словно какая-то докучливая мысль пришла ему в голову.

Ангерран де Мариньи невольно поднес ладонь к лицу, как бы желая защитить глаза от ярких вспышек пламени.

– Чудесное зрелище вы уготовили нам, Ногаре, подлинная картина преисподней, – произнес Валуа. – Должно быть, о своей будущей жизни задумались?

Гийом де Ногаре ничего не ответил на шутку его высочества.

Костер разгорелся с новой силой, и Жоффруа де Шарне, приор Нормандии, охваченный пламенем, уже напоминал обуглившийся ствол, который потрескивал в огне, покрывался пузырями, обращаясь постепенно в пепел, рассыпаясь пеплом.

Многие женщины теряли сознание. Другие сломя голову бросались к берегу, нагибались над протокой и даже не боролись с приступами рвоты, хотя король сидел чуть ли не напротив. Толпа, охрипшая от крика, примолкла, и кое-кто уже уверял, что совершится чудо, ибо ветер упорно дул все в том же направлении и пламя еще не коснулось Великого магистра. Нет, неспроста его так долго не берет огонь, неспроста костер с его стороны не желает гореть.

Но вдруг верхние поленья осели, и пламя, получив новую пищу, взмыло вверх, к ногам Жака де Моле.

– Наконец-то, – воскликнул Людювик Наваррский, – наконец-то и его взяло!

Вытянув и без того длинное лицо, напряжив худую шею, он весь сотряслся в приступе необъяснимого смеха, который неизменно нападал на него в самых, казалось бы, трагических обстоятельствах.

На огромные холодные глаза Филиппа Красивого ни разу, даже сейчас, не опустились веки.

Внезапно завесу пламени прорвал голос Великого магистра, и слова его были обращены ко всем и к каждому и беспощадно разили людей. И так неодолима была сила этого голоса, что казалось, принадлежит он уже не человеку, а идет из нездешнего мира. Жак де Моле снова заговорил, как нынче утром, на паперти собора Парижской Богоматери.

– Позор! Позор! – кричал он. – Вы все видите, что гибнут невинные. Позор на всех вас! Господь Бог нас рассудит!

Коварный язык пламени подкрался к нему, опалил бороду, в мгновение ока уничтожил бумажную митру, поджег седые волосы.

Толпа безмолвствовала в оцепенении. Людям казалось, что на их глазах жгут безумного пророка.

Лицо Великого магистра, пожираемого пламенем, было повернуто к королевской галерее. И громовой голос, сея страх, вещал:

– Папа Климент... рыцарь Гийом де Ногаре, король Филипп... не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!..

Пламя закрыло ему рот и заглушило последний крик Великого магистра. И в течение минуты, которая показалась зрителям нескончаемо долгой, он боролся со смертью.

Наконец тело его, перегнувшись пополам, бессильно повисло на веревках. Веревки лопнули. Великий магистр рухнул в бушующий огонь, и из багровых языков пламени выступила поднятая рука. И пока не почернела, не обуглилась, все еще с угрозой вздымалась к небесам.

Толпа, напуганная проклятиями тамплиера, не трогалась с места, и тяжелые вздохи, неясный шепот выражали растерянность, тревожное ожидание. Всей своей тяжестью навалились на людей ночь и ужас: мрак победил свет, падавший от затухавшего костра.

Лучники расталкивали толпу, но никто не решался отправиться домой.

– Ведь он не нас проклинал, а короля, верно ведь? – вполголоса переговаривались люди.

И все взоры невольно обращались к галерее. Король по-прежнему стоял у балюстрады. Не отрываясь смотрел он на обуглившуюся руку Великого магистра, которая чернела на фоне багрово-красных поленьев. Обугленная рука – вот и все, что осталось от могущества и славы Великого магистра, все, что осталось от знаменитого ордена тамплиеров. Но недвижимая эта рука застыла в жесте, предающем проклятию.

– Ну что, брат мой, – сказал его высочество Валуа, криво улыбнувшись, – надеюсь, вы теперь довольны?

Филипп Красивый обернулся на голос.

– Нет, брат мой, – ответил он. – Я недоволен. Я совершил ошибку.

Валуа напыжился от гордости – наконец-то пришел его час торжества над братом.

– Да, я совершил ошибку, – продолжал король. – Я должен был приказать вырвать им язык, а уж затем посылать их на костер.

И невозмутимо спокойный, как и всегда, король в сопровождении Ногаре, Мариньи и первого камергера удалился в свои покои.

Костер подернулся серым пеплом, только там и сям вспыхивали искорки и тут же гасли. Галерею заволокло дымом, принесшим с собой удушливый запах жженого человеческого мяса.

– Фу, как воняет, – сказал Людовик Наваррский. – Нет, право же, ужасно воняет. Уйдем отсюда поскорее.

А юный принц Карл с тревогой думал, сумеет ли он в объятиях своей супруги Бланки забыть все, что он видел.

Глава IX. Ночные грабители

Покинув гостеприимный кров Нельской башни, Готье и Филипп д'Онэ нерешительно брели по скользкой грязи, напряженно вглядываясь в темноту.

Лодочник, доставивший их сюда, исчез, словно сквозь землю провалился.

– Я же тебе говорил. Этот старикашка мне сразу не понравился, – начал Готье, – нельзя доверять первому встречному.

– Ты слишком щедро с ним расплатился, – возразил Филипп. – Просто мошенник решил, что пора ему развлечься, и отправился смотреть на казнь.

– Дай-то бог, чтоб оно так и было.

– А что же, по-твоему, еще может быть?

– Не знаю. Но чувствую, что все это не к добру. Старик сам вызвался нас перевезти и всю дорогу плакался, что ничего не заработал с самого утра. А когда ему велели подождать, взял да уехал.

– А что нам было делать? Ведь, кроме него, мы не нашли ни одного перевозчика. Значит, выбирать не приходилось.

– Правильно, – согласился брат. – Только он слишком уж много задавал нам вопросов.

Он замолк и прислушался, надеясь уловить стук весел в уключинах, но не услышал ничего, кроме негромкого плеска волн да отдаленного гула толпы, расходящейся по домам. Там, на Еврейском острове, который назавтра же парижане перекрестят в остров Тамплиеров, потух костер, подернулись пеплом угли. К едкому запаху дыма примешивался приторный запах речной воды.

– Ничего не поделаешь, придется идти пешком, – сказал Готье. – Хотя, должно быть, увязнем по уши. Но, ей-богу, после такой ночи стоит пострадать.

Братья пошли вдоль стен Нельского отеля, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть. Они по-прежнему зорко вглядывались в ночной мрак, словно ища у него ответа. Перевозчика нигде не было видно.

– А я все думаю, откуда они у них? – вдруг произнес Филипп.

– Кто они?

– Кошели.

– Опять ты об этих кошелях, – возмутился старший брат. – Уверю тебя, меня это ничуть не заботит. Знаю лишь одно – до сих пор мы с тобой от них такого прекрасного подарка не получали.

Он нежно погладил ладонью кошель, висевший у пояса, и почувствовал под пальцами грани драгоценных рубинов.

– Кто-нибудь из придворных? – продолжал размышлять вслух Филипп. – Нет, в таком случае Маргарита и Бланка не подарили бы нам кошель, побоялись бы, что их узнают. Тогда кто же, кто? Может быть, кто-то из их бургундской родни?.. Но странно, почему Маргарита об этом мне прямо не сказала.

– А ты что предпочитаешь, – со смехом спросил брата Готье, – знать или иметь?

Не успел Филипп ответить на этот вопрос, как впереди раздался негромкий свист. Братья вздрогнули от неожиданности и одновременно схватились за рукоятки кинжалов. Никакого иного оружия они не захватили, справедливо решив, что оно может помешать им во время этой ночной прогулки.

Любая встреча в здешних местах и в столь поздний час могла обернуться плохо.

– Эй, кто там идет? – окликнул Готье.

Снова раздался свист, и братья д'Онэ не успели даже занять оборонительной позиции.

Шесть человек вдруг выступили из тьмы и напали на них. Трое нападающих набросились на Филиппа, прижали его спиной к стене и крепко держали за обе руки, так что он не мог действовать кинжалом. Зато трое других еле справлялись с Готье. Старший д'Онэ швырнул на землю одного из грабителей – вернее, грабитель упал, чтобы избежать удара кинжалом. Но двое других схватили Готье сзади, вывернули ему руку, и он выронил оружие. Филипп чувствовал, как шарят по его телу руки грабителей, как добиваются до золотого кошель.

А главное – нельзя даже позвать на помощь! Правда, на крик непременно явятся стражники, охраняющие Нельскую башню, но в этом случае не оберешься вопросов: откуда явились братья д'Онэ, зачем сюда пожаловали, что делали. И поэтому оба они боролись молча. Или они выберутся из беды одни, без посторонней помощи, или же не выберутся из нее совсем.

Филипп, прижатый к стене, отбивался с энергией отчаяния и лягал нападавших ногами, так как не мог пустить в ход кинжал. Он не желал расставаться со своим кошель. Этот кошель вдруг стал дороже всего, что было у него на целом свете, и он решил спасти его любой ценой. А Готье был склонен вступить с грабителями в сделку. Пусть берут все, что угодно, лишь бы оставили жизнь. Да только оставят ли, не бросят ли, ограбив дочиста, в Сену, а завтра всплывут на поверхность два изуродованных трупа.

Как раз в этот момент из ночной мглы выступила какая-то тень. Готье увидел подошедшего только в последнюю минуту и не успел решить, кто это – спаситель или новое подкрепление грабителям.

Дальнейшее произошло в мгновение ока.

Один из грабителей крикнул:

– Эй, ребята, спасайся кто может!

Словно лев, ворвался пришелец в самую гущу свалки, и участники ее увидели, как блеснуло, вихрем завертелось лезвие меча.

– Ах, жулье! Ах, негодяи! Ах, наглецы! – оглушительно вопил незнакомец, щедро раздавая удары направо и налево.

Под градом ударов грабители разлетелись во все стороны. Один из них имел неосторожность приблизиться к незнакомцу, и тот, схватив его свободной рукой за ворот, с размаху швырнул в Сену. Вся шайка бросилась бежать без оглядки. Слышен был только торопливый топот ног, который затихал по мере того, как грабители пробирались к берегу, в сторону Прео-Клер, потом все стихло.

С трудом переводя дыхание, спотыкаясь на каждом шагу, Филипп подошел к брату, прижав обе руки к груди.

– Ранен? – спросил он.

– Нет, – ответил Готье прерывающимся голосом, потирая ушибленное плечо. – А ты?

– Тоже нет. Но мы спаслись просто чудом.

Не сговариваясь, оба брата д'Онэ разом повернулись к незнакомцу, который несколько секунд назад рассеял шайку грабителей, а теперь направлялся к спасенным, вкладывая на ходу клинок в ножны. Это был высокий, широкоплечий, крепкий мужчина; он с присвистом, позвериному, выпускал из ноздрей воздух.

– Так вот что, мессир, – начал Готье, – мы непременно поставим за ваше здоровье преогромную свечку. Не будь вас, плавать бы нам по Сене вверх брюхом. Кому мы имеем честь быть обязанными своим спасением?

Незнакомец расхохотался, смех у него был громкий, басистый, чуть наигранный. Даже в ночных сумерках ярко блестели его зубы, похожие на волчьи клыки. Братья невольно подумали, что уже слышали когда-то этот смех, но тут из-за туч выплыла луна, и они узнали своего спасителя.

– Ах, черт возьми, да ведь это вы, ваша светлость! – воскликнул Филипп.

– Ах, черт возьми, да это вы, красавчики! – в тон ему ответил тот, кого Филипп назвал «ваша светлость». – И я вас тоже узнал!

Спасителем братьев д'Онэ оказался Робер Артуа.

– Братья д'Онэ! – воскликнул Робер. – Самые прекрасные юноши среди всех придворных короля. Черт меня побери, кто бы мог предположить... Прохожу по берегу, слышу какой-то шум, ну, думаю, вот и еще одного мирного горожанина потрошат. Надо признаться, весь Париж наводнен головорезами, а наш прево Плуабуш... да, наш Плуабуш не очень-то дюж! Даже не помышляет очистить от них город, а лижет пятки Мариньи...

– Ваша светлость, – прервал его Филипп, – мы не знаем, как вас и благодарить...

– Пустяки! – воскликнул Робер Артуа, хлопнув своей лапищей Филиппа по плечу, отчего тот пошатнулся. – Одно удовольствие! Естественный порыв дворянина, обязанного поспешить на помощь человеку в беде. Но удовольствие возрастает, когда спешишь на помощь знакомым рыцарям, и я просто в восторге, что сохранил своим родичам Валуа и Пуатье их лучших конюших. Жаль только, что такая темень! Эх, взойди луна чуть пораньше, я бы с немалой охотой вспорол брюхо хоть одному из этих молодчиков. Но я боялся действовать круче, опасаясь задеть вас... Скажите мне, красавчики, вы-то что делали в этом грязном закоулке?

– Мы... мы гуляли... – смущенно ответил Филипп д'Онэ.

Гигант захохотал во все горло.

– Они гуляли! Чудесное место для прогулок, да и время самое подходящее! Они, видите ли, гуляли! Да тут в грязи утонешь! Ну и шутники! Ах, молодость, молодость! Любовные

делишки, не так ли? Свидание с хорошенькой девицей, а? – подмигнул он Филиппу и снова шутливо ударил его по плечу. – Хорошо жить в ваши годы – огонь по жилам так и бежит! Хорошо!

Вдруг он заметил кошель, блеснувшие в свете луны.

– Ого! – закричал он. – Огонь-то по жилам бежит, как видно, не без толку! Чудесная вещица, красавчики, чудесная вещица!

Он взвесил на ладони кошель, прицепленный к поясу Готье.

– Золотое плетение, тонкая работа!.. Работа итальянская, а может быть, и английская. И совсем новенькие... Конечно, не на жалованье конюших вы позволяете себе так роскошествовать. Да, грабители сделали бы славное дельце.

Робер разгорячился, он размахивал руками, игриво толкал братьев в бок, отпускал сальные шуточки, разгоряченный, громадный в ночном полумраке. Он порядком надоел братьям д'Онэ. Но как закажешь человеку, который только что спас вам жизнь, лезть не в свои дела?

– За любовь платят, шалунишки, – продолжал он, шагая между ними. – Надо полагать, что ваши любовницы – дамы весьма высокородные и весьма щедрые. Ну и ловкачи эти проклятые д'Онэ! Кто бы мог подумать!

– Его светлость ошибается, – холодным тоном произнес Готье. – Эти кошель достались нам по наследству.

– Ну конечно же, так я и думал, – сказал Артуа. – По наследству от той семьи, которую вы навещали ночью под стенами Нельской башни! Ладно, ладно, молчу! Честь прежде всего. Я вас одобряю, детки. Умеешь ласкать даму – умеешь уважать ее репутацию! Ну, прощайте. И не гуляйте больше по ночам, увешанные ювелирными изделиями.

Робер снова оглушительно захохотал, обнял братьев дружески за плечи, чуть не столкнув их лбами, и ушел, предоставив им тревожиться и сердиться на свободу, даже не дослушав слов их благодарности.

Братья д'Онэ вместе со своим спутником незаметно дошли до ворот Бюси и теперь повернули направо, а Робер Артуа зашагал через Пре-о-Клер по направлению к Сен-Жермен-де-Пре.

– Хорошо, если он не разболтает всему двору, где встретился с нами, – сказал Готье. – Как ты думаешь, способен он держать пасть на запоре?

– Думаю, что да, – ответил Филипп. – В сущности, он неплохой малый. Не будь у него такой, как ты выражаешься, пасти и таких ручищ, еще неизвестно, были бы мы живы. Нельзя же так скоро забывать оказанную тебе услугу.

– Ты прав. Впрочем, мы тоже могли бы его спросить, что он сам-то делал в таком захо-лустье?

– Бегал за непотребными девками, уверяю тебя. И сейчас отправился в какое-нибудь злачное местечко, – ответил Филипп.

Он ошибался. Робер Артуа вовсе не собирался развлекаться. Сделав крюк по Пре-о-Клер, он снова вышел на берег и возвратился к причалу у подножия Нельской башни.

Луна опять спряталась за тучи. Робер негромко свистнул – такой же свист час назад возвестил о начале нападения на братьев д'Онэ.

Шесть теней отделились от стены, а седьмая поднялась со дна лодки. Все семь теней стояли перед его светлостью Робером Артуа в самых почтительных позах.

– Чудесно, чудесно, вы хорошо справились с делом, – начал Артуа, – все получилось, как я задумал. Подойди сюда, Карл Ган! – позвал он главаря бандитов. – Возьми и раздели поровну между твоими людьми.

И Робер бросил ему кошелек.

– Здорово вы, ваша светлость, меня по плечу ударили, – заметил один из грабителей.

– Подумаешь, велика важность! Это предусмотрено в оплате, – засмеялся Артуа. – А теперь прочь отсюда. Если вы мне опять понадобится, я вас извещу.

Затем Робер сошел в лодку, которая осела под его тяжестью. Лодочник, схватившийся за весла, был тот самый старик, что привез сюда братьев д'Онэ.

– Ну как, ваша светлость, довольны? – спросил он.

Лодочник задал вопрос самым обычным, а не тем хнычущим тоном, которым он говорил с братьями д'Онэ; казалось, он даже помолодел лет на десять и теперь изо всех сил налегал на весла.

– Доволен, мой старый Лорме! Ты здорово провел их, – ответил великан. – Теперь я узнал все, что хотел знать.

С этими словами Робер откинул назад свой мощный торс, вытянул свои слоновые ноги и погрузил в черные воды Сены свою огромную лапищу.

Часть вторая. Принцессы-прелюбодейки

Глава I. Банк Толомеи

Мессир Спинелло Толомеи минуту сидел в задумчивости, потом, понизив голос до полупшепота, словно боялся, что его могут подслушать, спросил:

– Две тысячи ливров задатку? Устроит ли его высокопреосвященство столь скромная сумма?

Левый глаз банкира был закрыт, а правый, смотревший на собеседника невинным и спокойным взглядом, неестественно блестел.

Хотя мессир Толомеи уже давным-давно обосновался во Франции, он никак не мог отделаться от итальянского акцента. Это был пухлый смуглый брюнет с двойным подбородком. Волосы с проседью, аккуратно расчесанные и подстриженные, падали на воротник кафтана из тонкого сукна, отороченного мехом и стянутого поясом на брюшке, напоминавшем по форме тыкву. Когда банкир говорил, он назидательно поднимал пухлые руки и осторожно потирал кончики тонких пальцев. Враги уверяли, что открытый глаз банкира лжет, а правда спрятана в закрытом глазу.

Спинелло Толомеи, один из самых могущественных дельцов Парижа, напоминал манерами епископа – по крайней мере в эту минуту, поскольку беседовал он с прелатом.

А прелат был не кто иной, как Жан де Мариньи, худой, изящный, даже грациозный юноша, тот самый, что накануне во время заседания церковного судилища сидел на паперти собора Парижской Богоматери в такой томной позе и потом обрушился на Великого магистра.

Младший брат Ангеррана де Мариньи был назначен в архиепископство Санское, от которого зависела парижская епархия, с целью довести до желаемого конца процесс против тамплиеров. Таким образом, гость был причастен к самым важным государственным делам.

– Две тысячи ливров? – переспросил он.

Посетитель держал себя не совсем спокойно. Услышав эту цифру, он взволнованно отвернулся, желая скрыть от банкира радостное изумление, осветившее его лицо. Подобной суммы он никак не ожидал.

– Что ж, эта сумма меня, пожалуй, устроит, – проговорил он с наигранно небрежным видом. – Я предпочел бы, чтобы дело было улажено как можно скорее.

Банкир следил за ним хищным взглядом, будто жирный кот, подстерегающий хорошенькую пичужку.

– Можно устроить все тут же, на месте, – ответил он.

– Прекрасно, – отозвался юный архиепископ. – А когда прикажете принести вам...

Он не закончил фразы, так как ему почудился за дверью какой-то подозрительный шум. Но нет! Ничто в доме не нарушало тишины. Только в окно доносился обычный утренний гул, наполнявший Ломбардскую улицу, – пронзительные крики точильщиков, водовозов, торговцев зеленью, луком, кресс-салатом, сыром, углем. «Молока, кому молока, тетушки...», «Сыр, хороший сыр из Шампани!...», «Угля!.. Угля! За денье целый мешок!...» Свет, лившийся в огромные трехстворчатые, на итальянский манер, окна, мягко скользил по роскошным стенным драпировкам, расшитым сценами из военной жизни, по дубовым буфетам, навошенным до блеска, по большому ларю, обитому железом.

– Вещи? – подхватил Толомеи. – Когда вам будет угодно, ваше высокопреосвященство, когда вам будет угодно.

Поднявшись с кресла, банкир подошел к длинному письменному столу, где в беспорядке валялись гусиные перья, пергаментные свитки, дощечки для письма и стили. Из ящика он вытащил два мешочка.

– По тысяче в каждом, – пояснил он. – Приготовлено нарочно для вас – ежели угодно, можете взять с собой. Соболаговолите, ваше преосвященство, подписать эту расписочку... – И он протянул Жану де Мариньи заранее заготовленный листок.

– Охотно, – ответил архиепископ, берясь за гусиное перо.

Но рука его, уже начавшая выводить первые буквы имени, вдруг замерла в нерешительности. В расписке перечислялись те «вещи», которые он обязан был представить банкиру Толомеи, дабы тот пустил их в оборот; в списке значилась церковная утварь, золотые дароносицы, распятия, усыпанные драгоценными камнями, и, кроме того, диковинное оружие – словом, все сокровища, которые были отобраны у тамплиеров Санской епархией. А ведь это добро должно было поступить в королевскую казну или быть передано в распоряжение ордена госпитальеров. Итак, юный архиепископ собирался совершить прямое мошенничество, растрату государственных средств, и совершить незамедлительно. Поставить свою подпись под этой распиской сегодня утром, всего через несколько часов после того, как сожгли тамплиеров...

– Я предпочел бы... – начал архиепископ.

– Чтобы эти предметы были проданы за пределами Франции? – прервал его сиенец. – Ну конечно же, ваше высокопреосвященство. Non sonno pazzo, я еще с ума не сошел.

– Я хотел сказать... относительно этой расписки.

– Никто, кроме меня, ее не увидит. Это не только в ваших, но и в моих интересах, – ответил банкир. – Я ведь лишь на тот случай, если с кем-нибудь из нас двоих произойдет неприятность... храни нас Бог от такого несчастья.

Он набожно перекрестился и, быстро опустив под стол правую руку, сложил два пальца в виде рожек.

– А не будет ли вам слишком тяжело? – спросил банкир, указывая на мешочки с золотом, и этот жест красноречиво говорил, что лично он, Толомеи, считает дело поконченным и не заслуживающим дальнейших обсуждений. – Прикажете послать с вами провожатого?

– Благодарю вас, мой слуга ждет внизу, – ответил архиепископ.

– Тогда... попрошу... вот здесь... – сказал Толомеи, уперев палец в листок, как раз в то самое место, где архиепископ должен был поставить свою подпись.

Отступать было поздно. Когда человек вынужден искать себе сообщников, приходится доверять им...

– Вы сами понимаете, ваше высокопреосвященство, – начал, помолчав, Толомеи, – что я отнюдь не желаю наживать на вас, поскольку речь идет о такой незначительной сумме. Скажу больше, неприятностей у меня будет куча, а выгоды никакой. Но я иду вам навстречу, поскольку вы человек могущественный, а дружба людей могущественных дороже золота.

Последние слова банкир произнес тоном добродушной шутки, но его левый глаз был по-прежнему плотно прикрыт веком.

«В конце концов, старик говорит чистую правду, – подумал Жан де Мариньи. – Его почему-то считают хитрым, но его хитрость граничит с простодушием».

И он не колеблясь поставил под распиской свою подпись.

– Кстати, ваше высокопреосвященство, не знаете ли вы, как принял король тех английских борзых, которых я ему вчера послал?

– Ах, так вот оно в чем дело! Значит, это вы презентовали того великолепного огромного пса, который от короля ни на шаг не отходит и которого его величество назвал Ломбардцем?

– Назвал его Ломбардцем? Приятно слышать. Король – человек остроумный, – рассмеялся Толомеи. – Вообразите, ваше высокопреосвященство, что вчера утром...

Но банкир не успел рассказать историю о том, что произошло вчера утром, – в дверь постучали. Вошедший слуга доложил, что граф Робер Артуа просит его принять.

– Хорошо, сейчас приму, – сказал Толомеи, движением руки отпуская слугу.

Жан де Мариньи помрачнел.

– Мне не хотелось бы... встречаться с ним, – пояснил он.

– Конечно, конечно, – мягко подхватил банкир. – Его светлость Артуа любитель поговорить. Он повсюду будет рассказывать, что встретил вас здесь...

Банкир позвонил в колокольчик. Тотчас же раздвинулась стенная драпировка, и в комнате появился молодой человек в узком полукафтани. Это был тот самый юноша, который чуть не сбил с ног короля Франции.

– Послушай, племянник, – обратился к нему банкир, – проводи его высокопреосвященство, только не через галерею, и смотри, чтобы его никто не увидел. А это донеси до ворот, – добавил он, подавая два мешочка с золотом. – До скорого свидания, ваше высокопреосвященство!

Согнувшись в низком поклоне, Спинелло Толомеи облобызал великолепный аметист, украшавший руку прелата. Затем услужливо раздвинул перед ним драпировку.

Когда Жан де Мариньи исчез вместе со своим проводником, сиенец подошел к столу, взял подписанную бумагу и аккуратно свернул ее.

– Coglione, – пробормотал он. – Vanesio, ladro, ma pure coglione!³

Теперь его левый глаз был широко открыт. Спрятав документ в ящик стола, банкир вышел из комнаты, спеша приветствовать второго посетителя.

Он пересек длинную светлую галерею, где стояли прилавки, ибо Толомеи занимался не только банковскими операциями, но и ввозил из заморских стран и продавал в розницу редкие товары всякого рода – от пряностей и кордовской кожи до фландрских сукон, от расшитых золотом кипрских ковров до арабских благовоний.

Целый рой приказчиков занимался с покупателями, двери не закрывались с утра до вечера; счетчики подбивали итоги, пользуясь для этой цели особыми шахматными досками, на которых раскладывались кучками медные бляшки, – всю галерею наполняло жужжание голов.

Легко продвигаясь вперед, тучный сиенец кланялся на ходу знакомым, бегло просматривал цифры и тут же исправлял ошибку, распекал нерадивого приказчика или, бросив короткое niente – нет, отказывал просителю в кредите.

Робер Артуа стоял у прилавка, где было разложено оружие, привезенное из Леванта, и взвешивал на ладони тяжелый дамаский клинок.

Когда банкир дотронулся до локтя великана, тот резко обернулся, и тут же лицо его выразило то простодушие, ту веселость, какую Робер при случае охотно напускал на себя.

– Ну как, – спросил Толомеи, – опять ко мне?

– Уф! – тяжело вздохнул великан. – Хочу вас о двух вещах попросить.

– Догадываюсь, что первая – это деньги!

– Да тише вы! – проворчал Артуа. – И так весь Париж знает, что я вам, лихоимщику, целое состояние должен! Пойдем поговорим где-нибудь в укромном местечке.

Они вышли из галереи. Очутившись в своем кабинете и закрыв дверь, Толомеи сказал:

– Если речь, ваша светлость, идет о новом займе, боюсь, что мне придется вам отказать.

– Почему?

– Дорогой граф Робер, – степенно начал Толомеи, – когда у вас была тяжба с вашей тетушкой Маго из-за наследства – я имею в виду графство Артуа, – не кто иной, как я, оплачивал все расходы. Но ведь тяжбу-то вы проиграли!

³ Дурак. Честолюбец, вор, но еще и дурак! (ит.)

– Вы же прекрасно знаете, что я проиграл ее только из-за подлости человеческой! – воскликнул Артуа. – Проиграл ее из-за интриг этой дряни Маго... Пусть она сдохнет!.. Шайка мошенников! И дали-то ей графство Артуа лишь для того, чтобы Франш-Конте в качестве приданого ее дочки вернулось в казну. Но если бы существовала на земле справедливость, я был бы пером и самым богатым из всех баронов Франции! И я буду, слышите, Толомеи, буду самым богатым бароном!

Он хватил по столу своим большущим кулаком.

– От души вам того желаю, дорогой мессир, – по-прежнему спокойно произнес Толомеи. – Но пока что вы проиграли процесс.

Куда делись елейные речи и плавные движения священнослужителя, которыми щеголял во время беседы с архиепископом Санским итальянский банкир! С Робером Артуа он говорил фамильярным, развязным тоном.

– Однако ж я получил графство Бомон-ле-Роже, а оно дает пять тысяч ливров дохода, и замок Конш, где я живу, – отрезал великан.

– Не спорю, – согласился банкир. – И все-таки вы мне даже гроша не вернули. Напротив того...

– Никак не могу добиться, чтобы мне выплатили мои доходы. Казна мне должна за несколько лет...

– Львиную долю этого долга вы взяли у меня. Вам требовались деньги, чтобы чинить крыши замка Конш и тамошние конюшни...

– Они же сгорели, – заметил Робер.

– Пусть так. И потом, вам нужны деньги, чтобы поддерживать ваших сторонников в Артуа.

– А куда я без них гожусь? Ведь если я выиграю свой процесс, то только благодаря им, благодаря Фиенну и прочим. А если понадобится, прибежем к оружию... И потом, скажите-ка мне, мессир...

Великан произнес последнюю фразу совсем иным тоном, словно ему прискучила роль мальчугана, которого журит добрый дядюшка. Захватив полу банкирского кафтана двумя пальцами, он начал тянуть ее вверх.

– Скажите-ка мне... Верно, вы оплатили расходы по моей тяжбе, оплатили мои конюшни и прочую дребедень, согласен, но разве благодаря мне вы не провели несколько славненьких операций, а? Кто вам сообщил, что тамплиеров собираются арестовать, кто посоветовал вам взять у них займы денег, которые вам, если не ошибаюсь, не пришлось возвращать? А кто предупредил вас об уменьшении доли золота в монете, благодаря чему вы вложили все ваше золото в товары и получили двойную прибыль? А ну скажите – кто?

Верный старинной традиции, которую свято блюдет каждый уважающий себя банкирский дом, Толомеи имел своих осведомителей даже в Королевском совете, и главным из этих осведомителей был граф Артуа, друг и сотрапезник Карла Валуа, ничего не скрывавшего от своего родича.

Толомеи высвободил из длани Робера полу кафтана, аккуратно разгладил складки, улыбнулся и произнес, не открывая левого глаза:

– Я ведь признаю ваши заслуги, признаю. Подчас, ваша светлость, вы доставляли мне весьма полезные сведения. Но – увы!

– Что – увы?

– Увы! Те выгоды, которые я извлек благодаря вам, далеко не покрывают выданную вам сумму.

– Неужели правда?

– Истинная правда, ваша светлость, – ответил Толомеи с самым простодушным видом.

Он лгал и мог лгать безнаказанно, ибо Робер Артуа, столь ловкий в интригах, был не совсем в ладах с арифметикой и терялся при виде цифр.

– Эх! – досадливо произнес Робер.

Он задумчиво поскреб ногтями щеку, покрытую грубой, будто свиной, кожей, и медленно покачал головой.

– Кстати о тамплиерах... вы, должно быть, порадовались нынче утром? – спросил он.

– И да и нет, ваша светлость, и да и нет. Уже много лет, как они перестали быть нашими конкурентами. А теперь за кого возьмутся? За нас, за ломбардцев, – так, по крайней мере, говорят... Торговля золотом – нелегкое ремесло. И однако, без нас все бы замерло... Кстати, – прервал себя Толомеи, – не сообщал ли вам его высочество Валуа, что курс парижского ливра в скором времени опять изменится? Такие слухи ходят.

– Нет, – рассеянно ответил Артуа, занятый своими мыслями. – Но на сей раз Маго в моих руках. Потому что в моих руках ее дочери и кузина. И я им сверну шею... Крак – и готово!

Несколько расплывчатые черты его лица, горевшего ненавистью, стали жестче, он казался сейчас почти красивым.

Он снова нагнулся к Толомеи. «Да этот одержимый, – думал банкир, – способен на любое... Так или иначе, дам ему займы еще пятьсот ливров... А ведь верно, от него здорово несет дичью...» Вслух он сказал:

– В чем, собственно, дело?

Робер Артуа понизил голос до полусшепота. Глаза его блеснули.

– Наши крошки-распутницы обзавелись любовниками, – начал он, – и сегодня ночью я узнал, кто они. Но – молчок, ни слова! Я не хочу, чтобы об этом знали... еще не пришло время.

Сиенец сидел в глубоком раздумье. Такие слухи уже доходили до него, но он им не верил.

– Но вам-то какая от этого польза? – спросил он Робера.

– Как какая? – воскликнул Артуа. – Вы представляете себе, какое получится позорище! Будущая королева Франции, застигнутая, как непотребная девка, вместе со своим голубком... Да тут дело пахнет скандалом, расторжением брака! Все бургундское семейство по уши сидит в грязи, тетушка Маго теряет при дворе весь свой кредит, наследство ускользает от казны; а я начинаю вновь свою тяжбу и блестяще ее выигрываю!

Робер ходил взад и вперед по комнате, и под его тяжелыми шагами дрожал пол, мебель, дрожало все.

– Значит, вы сами, – спросил Толомеи, – сообщите о позоре, павшем на королевскую семью? Сами пойдете к королю...

– Нет, месье, нет, увольте, только не я. Меня никто и слушать не станет. Кто-нибудь другой... более подходящий для выполнения столь щекотливой миссии... Даже лучше, чтобы это шло не из Франции. Вот об этом я и хотел вас попросить во вторую очередь. Мне нужен верный человек, такой, чтобы он не был особенно на виду и чтобы он мог поехать в Англию и отвезти туда послание.

– Кому же это?

– Королеве Изабелле.

– Ах так! – пробормотал банкир.

Воцарилось молчание, только с улицы доносился шум да слышались крики лоточников, выхвалявших свой товар.

– Это верно, что королева Изабелла не особенно жалуется своих невесток, – проговорил наконец Толомеи, который с первых же слов посетителя понял, каким путем граф Артуа намерен довести свой заговор до конца. – Если не ошибаюсь, вы ее лучший друг и несколько дней назад посетили Англию?

– Я вернулся оттуда в прошлую пятницу и, как видите, времени зря не терял.

– Но почему бы вам самому не послать к королеве Изабелле гонца – конечно, человека надежного или кого-нибудь из свиты его высочества Валуа?

– Мои люди наперечет известны, да и люди его высочества тоже, не даром же в этой стране все следят друг за другом, сосед следит за соседом, поэтому-то дело может сорваться в самом начале. Вот я и решил, что купец – конечно, такой купец, которому можно довериться, – более подходит для подобной роли. Ведь много ваших людей разъезжают по делам... Впрочем, письмо будет самое невинное, так что передатчику беспокоиться нечего...

Толомеи пристально взглянул в глаза великана, в раздумье потупил голову и потом, вдруг решившись, взял бронзовый колокольчик и позвонил.

– Постараюсь еще раз оказать вам услугу, – сказал он.

Драпировки, скрывавшие стену, раздвинулись, и показался тот самый юноша, который провел окольным путем архиепископа Санского. Банкир представил его гостю:

– Гуччо Бальони, мой племянник, недавно приехал из Сиены. Не думаю, чтобы стражи и приставы нашего общего друга Мариньи успели его хорошо узнать... Правда, вчера утром... – добавил Толомеи вполголоса, с притворной суровостью глядя на юношу, – вчера он так отличился, что сам король Франции удостоил его взглядом... Ну, каков, по-вашему?

Робер Артуа окинул Гуччо внимательным взглядом.

– Хорошенький мальчик, – со смехом произнес он, – стан прямой, ноги стройные, талия тонкая, глаза как у трубадура, а взгляд с хитринкой... хорошенький мальчик. Это его вы собираетесь послать, мессир Толомеи?

– Он мое второе «я», – ответил банкир, – только похудее и помоложе. И вообразите, я сам был когда-то таким же, но – увы! – один лишь я остался тому свидетелем.

– Если король Эдуард заметит ненароком вашего посланца, боюсь, что мальчика нам больше не видать.

И великан залился громким смехом, к которому присоединились дядя и племянник.

– Слушай, Гуччо, – сказал Толомеи, насмеявшись, – тебе представляется случай ознакомиться с Англией. Отправишься туда завтра на заре, по приезде в Лондон остановишься у нашего родича Альбицци, с его помощью проникнешь в Вестминстерский дворец и передашь королеве – только помни, в собственные ее руки – письмо, которое сейчас напишет его светлость. Потом я тебе подробнее расскажу, как надо действовать.

– Я предпочел бы продиктовать письмо, – отозвался Артуа, – мне сподручнее обращаться с рогатиной, чем с вашими чертовыми гусиными перьями.

«Да еще и недоверчив ко всем прочим своим качествам, – подумал Толомеи, – не хочет оставлять после себя следов». Но вслух произнес:

– К вашим услугам.

Гуччо написал под диктовку следующее послание:

То, о чем мы догадывались, подтвердилось, и к тому же самым постыдным образом. Я знаю всех действующих лиц и так их прижал, что, если мы не мешкая примем меры, улизнуть им не удастся. Но одна лишь вы располагаете достаточной властью, дабы совершить то, что мы задумали, и ваш приезд мог бы положить конец той мерзости, что чернит честь ваших ближайших родственников. Мое единственное желание – верно служить вам телом и душой.

– А подпись, ваша светлость? – спросил Гуччо.

– Вот она, – ответил Артуа, протягивая юноше железный перстень. – Отвезешь его королеве Изабелле. Она поймет... Да уверен ли ты, что сможешь сразу же попасть к ней? – добавил он с сомнением в голосе.

– Да, ваша светлость, – ответил за племянника банкир Толомеи, – государи Англии кое-что слышали о нас. Когда король Эдуард приезжал сюда в прошлом году вместе с королевой Изабеллой, чтобы присутствовать на празднествах, где вы вместе с королевскими сыновьями были посвящены в рыцари, – так вот! – король английский занял у нас, ломбардских купцов, сумму в двадцать тысяч ливров, которую мы собрали промеж себя, и до сих пор не соизволил вернуть долг.

– Как, и он тоже? – воскликнул Артуа. – Кстати, банкир, как же по поводу... по поводу того, первого вопроса?

– Что поделаешь! Не умею я, ваша светлость, вам отказывать, – вздохнул Толомеи.

Он взял мешочек с пятьюстами ливрами и протянул его Роберу.

– Припишем эту сумму к прежнему вашему счету, равно как и дорожные расходы вашего посланца.

– Ах, банкир, банкир, – воскликнул Артуа, широко улыбнувшись, отчего просветлело все его лицо, – ты верный друг. Когда я заполучу графство, я назначу тебя своим казначеем.

– Надеюсь на вашу милость, – ответил Толомеи, склонившись в поклоне.

– А не выйдет, так захвачу тебя с собой в ад. Там мне здорово будет доставать тебя и всего прочего.

И великан, размахивая тяжелым мешочком, будто детским мячом, направился к выходу. В дверях он нагнулся, чтобы не удариться о притолоку.

– Вы опять дали ему денег, дядюшка! – сказал Гуччо, укоризненно покачав головой. – А ведь вы сами говорили...

– Гуччо мой, милый Гуччо, – нежно возразил банкир (сейчас он смотрел вокруг себя обоими широко открытыми глазами), – на всю жизнь запомни одно правило: тайны великих мира сего стоят тех денег, которыми мы их ссужаем. Не далее как нынче утром его высокопреосвященство Жан де Мариньи и его светлость Артуа оба дали мне долговые обязательства, которые дороже золота и которые мы сумеем в свое время пустить в оборот. Ну а золото... мы уж как-нибудь восполним убыток.

Он задумался, потом сказал:

– На обратном пути из Англии тебе придется сделать крюк. Поедешь через Нофль-ле-Вье.

– Слушаюсь, дядюшка, – ответил Гуччо без особого восторга.

– Нашему тамошнему доверенному не удалось получить от владельцев замка Крессе сумму, которую они нам должны. Глава семейства недавно умер. А наследники отказываются платить. Впрочем, говорят, что у них ничего нет.

– Как же быть, если у них ничего нет?

– Ба! А стены замка, а земли, а родственники? Пусть перезаймут у кого-нибудь и рассчитаются с нами. В противном случае повидайся с местным прево, вели наложить арест на их имущество, добейся аукциона. Это тяжело, жестоко, сам знаю. Но банкир должен ожесточить свое сердце. Должен не щадить мелких клиентов, иначе он не сможет уступать крупным. Ведь тут не только вопрос денег. О чем ты думаешь, *figlio mio*?⁴

– Об Англии, дядюшка, – ответил Гуччо.

Поездка в Нофль казалась юноше довольно скучной повинностью, но он соглашался даже на нее; в мечтах он был уже в Англии, его влекло туда мальчишеское любопытство. В первый раз он поедет по морю... Нет, и впрямь ремесло ломбардского купца не лишено приятности и чревато самыми неожиданными сюрпризами. Ездить, путешествовать, вручать государям тайные послания...

⁴ Сынок (*ит.*).

Старик с глубокой нежностью глядел на своего племянника. Гуччо был единственной привязанностью этого лукавого и охладевшего сердца.

– Путешествие будет весьма интересное, и, признаться, я тебе даже завидую, – сказал он. – Мало кому в твоём возрасте выпадает счастье посмотреть чужие страны. Учись, суй повсюду свой нос, выведывай, высматривай, умеи заставить говорить другого, а сам держи язык за зубами. Остерегайся того, кто подносит тебе чару; не давай девицам больше того, что они стоят, и смотри не забывай снимать шляпу перед крестным ходом. А если тебе повстречается на дороге король, веди себя так, чтобы мне не пришлось на сей раз посылать его величеству лошадь или слона.

– А правда ли, дядюшка, – с улыбкой спросил Гуччо, – что королева Изабелла так прекрасна, как говорят?

Глава II. Путешествие в Лондон

Есть на свете немало людей, которые с детских лет мечтают о путешествиях и приключениях, чтобы не только в глазах посторонних, но и в своих собственных казаться героями. А когда жизнь сталкивает их с долгожданным приключением, когда опасность близка, они думают с раскаянием: «Кой черт мне все это нужно, понесла же меня нелегкая!» То же самое испытывал и юный Гуччо. Самой страстной его мечтой было узнать море. Но теперь, очутившись на море, он отдал бы все, что угодно, лишь бы оказаться на суше.

Было равноденствие, и лишь немногие корабли решались сняться с якоря из-за сильных приливов и отливов. Спустив с одного плеча плащ, положив ладонь на рукоятку кинжала, Гуччо этаким фанфароном прошёлся по набережным Кале, но найти судовладельца, который согласился бы выйти в открытое море, ему удалось не без труда. Отчалили они лишь к вечеру, и сразу же, как только корабль вышел из гавани, поднялась буря. Замурованный в какой-то чулан, расположенный в трюме возле основания грот-мачты («Тут не так качает», – объяснил капитан), где прилечь можно было только на деревянную скамью, Гуччо провел самую скверную ночь в своей жизни.

Волны тяжело, как таран, били в борт корабля, и Гуччо казалось, что все вокруг него вот-вот опрокинется вверх тормашками. То и дело он скатывался наземь со своего импровизированного ложа и в поисках его долго плутал в полном мраке, натываясь на какие-то бревна, налетая на бухты канатов, отвердевших от соленой воды, больно ударялся об углы небрежно сложенных ящиков, которые с грохотом перекатывались по полу, пытался уцепиться за невидимые предметы, ускользавшие из рук. Он со страхом ждал, что вот-вот разобьётся в щепы корпус судна. Когда свист бури затихал на мгновение, Гуччо слышал, как хлопали наверху паруса и как с грохотом обрушивалась на палубу стена воды. В ужасе спрашивал он себя, уж не смыло ли весь экипаж и не остался ли он, Гуччо, один на борту этого судна без парусов и мачт, а оно, повинувшись воле волн, возносилось к небесам, чтобы тут же вновь рухнуть в бездну, и казалось, нет и не будет конца этим взлетам и падениям.

«Сейчас я умру, – думал Гуччо. – Как глупо умирать в мои годы, и какой смертью – быть поглощенным морской пучиной! Никогда больше я не увижу дядюшку, никогда больше не увижу солнца. Почему, почему я не подождал в Кале два-три дня? Какая непростительная глупость! Если я уцелею, *perla Madonna*, милостью Божьей Матери, я поселюсь в Лондоне, буду водоносом, кем угодно буду, только в жизни не ступлю больше на борт корабля».

Наконец Гуччо удалось ухватиться за основание мачты: скорчившись, сжавшись в комок, дрожа всем телом в мокрой одежде, чувствуя неудержимые позывы к рвоте, он стал терпеливо ждать своей кончины и приносил обеты святой Деве Марии делле Неви, святой Деве Марии делла Скала, святой Деве Марии деи Серви, святой Деве Марии дель Кармине – другими словами, обещал сделать вклад во все сиенские храмы, которые он знал и помнил.

На рассвете буря утихла. Гуччо без сил огляделся вокруг: ящики, паруса, якоря, какие-то снасти – все это валялось в ужасающем беспорядке, а в брюхе судна, под плохо пригнанными планками пола, хлюпала вода.

Люк, ведущий на палубу, распахнулся, и чей-то грубый голос прокричал:

– Эй, синьор? Ну как спалось?

– Спалось? – злобно переспросил Гуччо. – Сном смерти, что ли?

Ему спустили веревочную лестницу и помогли выбраться на палубу. Холодный порывистый ветер охватил его с головы до ног, и он снова задрожал от неприятного прикосновения намокшей одежды.

– Почему вы меня не предупредили, что будет буря? – спросил Гуччо владельца судна.

– Ваша правда, синьор, ночь, как на грех, выдалась скверная, – ответил хозяин. – Но вспомните, как вы торопились. А потом, для нас, сами небось знаете, это дело привычное. Сейчас до берега уже рукой подать...

И хозяин, плотный старик с крошечными черными глазками, насмешливо взглянул на Гуччо.

Протянув руку куда-то вдаль, к беловой полоске, выступавшей из тумана, старый моряк добавил:

– Вон он, Дувр.

Гуччо прерывисто вздохнул и плотнее закутался в плащ.

– Когда же мы приедем?

Старик пожал плечами:

– Часика через три-четыре, не позже, ветер с востока дует.

На палубе лежали вповалку трое матросов: их сморила усталость. Четвертый матрос стоял у руля и, грызя кусок солонины, не отрывал взгляда от носа корабля и от английского берега.

Гуччо присел возле старого моряка за низенькой деревянной перегородкой, которая все же защищала от ветра, и, несмотря на дневной свет, ветер и зыбь, заснул мертвым сном.

Когда он проснулся, перед ним был Дуврский порт с прямоугольником своих доков и строем низеньких, грубо сколоченных домишек, на крышах которых, чтобы их не унесло ветром, лежали камни. Справа по фарватеру стоял на отлете дом шерифа, охраняемый вооруженными стражниками. На пристани под навесами были навалены груды различных товаров, непрерывно сновала шумная толпа. Ветер доносил запахи рыбы, смолы и гниющего дерева. Рыбаки тащили сети или, взвалив на плечо тяжелые весла, пробивались сквозь толпу. Даже ребяташки не сидели без дела, они волочили по мостовой огромные мешки, в несколько раз превосходящие их своими размерами.

Судно, опустив паруса, вошло в док на веслах.

Молодости свойственно быстро обретать вновь не только свои силы, но и свои иллюзии. Преодоленная опасность лишь укрепляет ее веру в себя, толкает на поиски новых приключений. Так и Гуччо, поспав всего два-три часа, окончательно забыл все ночные страхи. Он готов был приписать себе победу, одержанную нынче ночью над морской стихией; в неудачном начале путешествия он видел теперь чуть ли не счастливое предзнаменование и доказательство тонкого своего чутья, помогшего ему в выборе столь искусных мореходов. Стоя на палубе в позе завоевателя, ухватившись рукой за какую-то снасть, он с жадным любопытством смотрел, как приближаются к нему владения Изабеллы.

Послание Робера Артуа, зашитое на груди камзола, железный перстень на указательном пальце – все это казалось Гуччо залогом славного будущего. Он станет свидетелем скрытой от всех жизни сильных мира сего, своими глазами увидит королей и королев, проникнет в наисекретнейшие дела монархов. В опьянении мечты, которая намного опережает будничные ход времени, он уже видел себя блестящим послом, поверенным всемогущих государей, визи-

рающим свысока на раболепствующую перед ним знать... Без него не состоится ни один государственный совет. Ведь показали же блистательный пример всем прочим смертным, сделав головокружительную карьеру, два его соотечественника, два брата, два знаменитых тосканских банкира: Биччо и Мушато Гуарди, которых французы запросто величали Бич и Муш и которые в течение чуть ли не одиннадцати лет были казначеями, послами, близкими людьми сурового короля Филиппа! А он добьется большего, и о прославленном Гуччо Бальони будут рассказывать, как удивительную свою карьеру он начал с того, что чуть не сбил с ног на углу парижской улицы самого короля Франции...

В гомоне, наполнявшем порт, ему слышались приветственные клики. Старый моряк перекинул доску с борта корабля на пристань. Гуччо заплатил причитающуюся с него сумму за проезд и покинул море ради суши; но ноги его, уже успевшие привыкнуть к мерному баюканью зыби, невольно подгибались, он скользил, чуть не падал на мокрой земле.

Поскольку товаров при Гуччо не имелось, он не обязан был проходить через «досмотрщиков», то есть через таможеню. Первому же мальчишке, предложившему поднести вещи, Гуччо приказал проводить себя к здешнему ломбардцу.

В ту пору итальянские банкиры и купцы располагали собственной организацией, через которую шли все почтовые и транспортные операции. Объединившись в крупные компании, носящие имя своего основателя, они имели во всех главных городах и почти в каждом порту свои конторы; эти конторы походили на филиалы современных банков, но в отличие от последних при тогдашних банкирских конторах имелись частные почтовые отделения и нечто вроде теперешнего бюро путешествий.

Поверенный дуврской конторы принадлежал к компании Альбицци. Он был счастлив принять племянника главы компании Толомеи и с почетом встретил гостя. Гуччо первым делом помылся, платье его высушили и отгладили; имеющиеся при нем золотые французские монеты обменяли на английские деньги и, пока он сидел за сытным обедом, ему оседлали коня.

За столом Гуччо рассказал о пережитой им буре, причем по его словам выходило, что он вел себя настоящим героем.

Накануне в Дувр прибыл еще один путешественник, посланец компании Барди, некто Боккаччо. Четыре дня назад он присутствовал при казни Жака де Моле; своими ушами слышал он проклятие Великого магистра и описывал трагическое зрелище с неумолимой и мрачной иронией, восхитившей его итальянских сотрапезников. Боккаччо было лет тридцать – Гуччо он казался чуть ли не стариком, – на его тонкогубом, живом и умном лице блестели темные глаза, с любопытством взиравшие на свет божий. Так как он тоже направлялся в Лондон, Гуччо решил ехать с ним вместе.

Выбрались они после полудня в сопровождении слуги.

Памятуя наставления дядюшки, Гуччо помалкивал и старался навести на разговор своего спутника, который только и ждал случая порассказать о себе. Немало повидал на своем веку синьор Боккаччо. Немало стран посетил он – был в Сицилии, Венеции, Испании, Фландрии, Германии, был даже на Востоке и выходил здоров и невредим из самых опасных приключений; он изучил нравы каждой страны, смело судил о религии, даже позволял себе сравнивать меж собой те или иные верования, презрительно отзывался о монахах и с ненавистью об инквизиции. По всему видно было, что синьор Боккаччо большой любитель прекрасного пола; из его намеков явствовало, что покорил он немало красавиц, именитых и вовсе неизвестных, и знал о них множество презабавных историй. Синьор Боккаччо не особенно высоко ставил женскую добродетель, и его соленые словечки нарушили покой юного Гуччо. Вместе с тем чувствовалось, что его новый знакомый не только хитрец, но и весьма отважный мужчина. Ох и вольнодумец же этот синьор Боккаччо, однако человек незаурядный!

– Будь у меня время, я бы охотно записал все эти истории и мысли, снес бы в житницу богатый урожай, собранный во время моих странствований, – заявил он Гуччо.

– За чем же дело стало, синьор? – осведомился Гуччо.

Синьор Боккаччо вздохнул в ответ, как вздыхает человек по своей мечте, которой, увы, не суждено осуществиться.

– *Troppo tardi*, слишком поздно, – сказал он, – поздно в мои годы превращаться в писца. Когда ты с юности избрал себе иное ремесло – зарабатывать деньги, – то после тридцати лет ничего другого уже делать не можешь. И к тому же напиши я все то, что знаю и слышал, да меня бы на костре сожгли!

Эта поездка бок о бок со столь занимательным спутником через прекрасные зеленеющие поля наполнила душу Гуччо восторгом. С наслаждением вдыхал он свежий воздух, пронизанный дыханием ранней весны; цоканье подков вторило их разговорам, как песнь безоблачного счастья, и восторженному Гуччо чудилось, что он сам участник всех этих изумительных происшествий, о которых рассказывал синьор Боккаччо.

К вечеру они добрались до харчевни. Ничто так не располагает к душевным излияниям, как привалы в пути. Путники попивали перед камельком из небольших кувшинов добрый английский эль – крепкое пиво, сдобренное имбирем, стручковым перцем и гвоздикой, – и, пока им стелили постель, синьор Боккаччо поведал Гуччо, что была у него любовница, французенка, и в минувшем году родила ему ребенка, сына, получившего при крещении имя Джованни.

– Говорят, что внебрачные дети наделены резвым нравом и крепче детей, рожденных в супружестве, – поучительно заметил Гуччо, у которого имелись про запас десятки избитых сентенций для оживления беседы.

– Без сомнения, Господь Бог одаряет их светлым умом и крепким телом, дабы вознаградить за потерю наследства и уважения общества. А может, просто им приходится сурово бороться за жизнь и прокладывать себе путь самим, ни на кого не рассчитывая, – ответил синьор Боккаччо.

– Ну, ваш-то, во всяком случае, будет иметь отца, который многому может его научить.

– Если только он простит отца за то, что тот произвел его на свет при столь незавидных обстоятельствах, – пожав плечами, ответил собеседник молодого ломбардца.

Для ночлега им отвели одну комнату и одно на двоих убогое ложе. В пять часов утра они снова пустились в путь. Космы тумана еще жались к земле. Синьор Боккаччо молчал – в таких людей рассвет не вселяет бодрости.

Погода выдалась свежая, и небо быстро очистилось. Они проезжали через деревушку, которая восхитила Гуччо своей какой-то особой миловидностью. Деревья стояли еще голые, но в воздухе чувствовался аромат весенних соков, пришедших в брожение, зеленая молоденькая травка уже пробивалась из земли. По стенам низких белых домиков карабкался плющ, плющ карабкался и по башенкам замков, похожих друг на друга как две капли воды. Живые изгороди во всех направлениях пересекали поля и холмы. Волнистая линия горизонта, опущенная полоской леса, лазорево-зеленый блеск Темзы, бежавшей под обрывистым берегом, группа охотников, которые возвращались домой со сворами гончих, – все это приводило Гуччо в восторг. «Что за прекрасные владения у королевы Изабеллы», – твердил он про себя.

Чем больше лье оставлял за собой Гуччо, тем сильнее овладевала его воображением королева, пред которой он вскоре должен был предстать. Почему бы, пользуясь данным ему поручением, не попробовать понравиться Изабелле? Быть может, расположение Изабеллы поможет ему свершить те высокие замыслы, для коих, несомненно, был он рожден. Разве мало еще более удивительных примеров из жизни государей и государств дает нам история? «Пусть она королева, – думал Гуччо, – но ведь она женщина, ей всего двадцать два года, и супруг ее не любит. Английские синьоры не смеют за ней ухаживать – боятся прогневить короля. А я приезжий, я тайный посланец; чтобы добраться сюда, я пренебрег бурей; я преклоню перед ней колена, сниму шляпу, опишу ею широкий полукруг, облобызаю подол королевского платья».

И он уже оттачивал фразу, в которой отдавал на служение молодой златокудрой королеве свое сердце, всю свою изворотливость и верную свою руку... «Мадам, увы, я не принадлежу к знати, но я вольный гражданин города Сиены, и я стою любого дворянина. Мне восемнадцать лет, и самая заветная мечта моя – созерцать вашу несравненную красоту, принести вам в дар душу мою и мою кровь до последней капли...»

– Уже недалеко, – прервал его мечты голос синьора Боккаччо.

И действительно, Гуччо не заметил, как они достигли предместий Лондона. Дома сплошной линией выстроились вдоль дороги; чудесные лесные ароматы исчезли; в воздухе запахло горелым торфом.

Гуччо удивленно оглядывался вокруг. Дядя Толомеи наговорил ему чудес, сулил, что племянник увидит необыкновенный город, а племянник видел только деревни, деревни, деревни, бесконечные ряды хижин с почерневшими стенами, грязные улочки, по которым шагали тощие женщины с тяжелой ношей за плечами, бегали оборванные ребятишки и шли угрюмые солдаты.

Внезапно вместе с толпой, вереницей лошадей и повозок наших путников вынесло на лондонский мост. Две четырехугольные башни стояли на страже английской столицы – вечерами между ними натягивали цепи и замыкали на запор огромные ворота. Первое, что бросилось в глаза Гуччо, была окровавленная человеческая голова, надетая на одну из пик, торчавших над воротами. Воронье кружилось вокруг этой мертвой головы с выклеванными глазами.

– Нынче утром король Англии вершил свое правосудие, – пояснил синьор Боккаччо. – Так кончают здесь свою жизнь преступники или те, которых объявляют преступниками с целью избавиться от них.

– Странная вывеска, особенно на воротах, через которые въезжают чужестранцы, – заметил Гуччо.

– Пусть знают, что в этом городе не в ходу комплименты и ласки.

Мост, по которому они ехали, был в те времена единственным мостом через Темзу; скорее это была настоящая улица, возведенная над рекой, и в деревянных домиках, стеной стоявших на мосту, процветала торговля самыми разнообразными товарами.

Двадцать арок, каждая в шестьдесят футов вышиной, поддерживали это удивительное сооружение. Строили его целых сто лет, и лондонцы весьма гордились этим обстоятельством.

Мутная вода бурлила у мостовых устоев, на окнах домиков сохло белье, женщины выливали помой прямо в реку.

«По сравнению с лондонским мостом флорентийский Понте Веккьо просто игрушечный, и Арно по сравнению с Темзой просто ручеек», – подумалось Гуччо. Он сообщил свои соображения синьору Боккаччо.

– Однако ж они наши ученики, – ответил тот.

Переезд через мост занял не меньше двадцати минут, путники с трудом пробивались сквозь густую толпу, а тут еще назойливые нищие висли на стремянах.

На том берегу реки Гуччо увидел башню, зловещий силуэт которой вырисовывался на фоне серого неба; вслед за синьором Боккаччо он повернул в Сити. Шум и оживление, царившие на улицах, этот непривычный уху говор, свинцовое, низко нависшее небо, удушливый запах горелого торфа, окутавший весь город, крики, доносящиеся из таверн, настойчивые заигрывания непотребных девок, грубые повадки горластых солдат – все это возбуждало любопытство Гуччо, но в то же время навевало на него уныние. Внезапно в его воображении возник Париж, и какой же сияющей, светлой показалась ему столица Франции по сравнению с Лондоном, темным даже в полдень.

Проехав шагов триста, путники свернули налево, на Ломбард-стрит, где размалеванные железные вывески извещали, что тут нашли себе пристанище итальянские банкиры. Невзрачные с виду домики в один, редко в два этажа, но чистенькие, с навощенными две-

рями и с решетками на окнах. Перед помещением банка Альбицци синьор Боккаччо оставил Гуччо. Дорожные спутники горячо распрощались, оба выражали живейшее удовольствие по поводу завязавшейся между ними дружбы и обещали встретиться как можно скорее в Париже. Сколько таких обещаний дается в дороге, и как редко они выполняются по приезде...

Глава III. В Вестминстере

Мессир Альбицци был мужчина высокого роста, сухощавый, с длинным смуглым лицом, с черными широкими бровями, из-под маленькой шапочки выбивались на лоб густые темные кудри. Гуччо он принял ласково, приветливо, но без всякой суеты, как и подобает важной особе. Говоря о своем доме, он пренебрежительно махал рукой, как бы ни во что не ставя богатство, которое выступало буквально из каждого угла его жилища. Сидя у стола, высокий худой Альбицци, в узком камзоле из темно-синего бархата с серебряными пуговицами, походил на тосканского принца.

Пока шел обмен традиционными приветствиями, гость разглядывал высокие дубовые сиденья, обитые камкой, табуреты из ценных пород дерева с инкрустациями из слоновой кости, богатейшие ковры, устилавшие весь пол, массивный камин с тяжелыми серебряными подсвечниками. Юноша не мог устоять против искушения и быстро делал в уме подсчеты: «Ковры... шестьдесят ливров за штуку, никак не меньше... подсвечники – сто двадцать... Если остальные комнаты не уступают этой – весь дом стоит в три раза дороже, чем дядин». Ибо, хотя Гуччо мечтал о карьере тайного посланника и верного рыцаря королевы, он был купец, купеческий сын, купеческий внук и купеческий правнук.

– Вам надо было сесть на один из моих кораблей, ведь мы и судовладельцы тоже... и ехать через Булонь... – говорил мессир Альбицци. – В таком случае, друг мой, вы путешествовали бы с большими удобствами.

Он велел слуге подать гипокрас, ароматическое вино, которое полагалось заедать сластями. Гуччо объяснил хозяину дома цель своего путешествия.

– Значит, вы хотите получить у королевы аудиенцию? – спросил Альбицци, неторопливо играя крупным рубином, украшавшим указательный палец его правой руки. – Ваш дядюшка Толомеи, коего я весьма уважаю, не ошибся, направив вас ко мне. Не скрою, мне ничего не стоит добиться того, что для другого трудно или даже просто невозможно. Один из главных моих клиентов, человек, мне кругом обязанный, носит имя Хью Диспенсер.

– Любимчик короля Эдуарда? – спросил Гуччо.

– Нет, Хью-отец. Его влияние проявляется втайне, но тем не менее он человек весьма могущественный. И ловко пользуется благосклонностью короля в отношении своего сына; если впредь ничто не изменится, вскоре он, и никто другой, будет управлять государством. Как вы сами понимаете, он меньше всего принадлежит к партии королевы...

– Но в таком случае стоит ли мне искать помощи этого лица? – осведомился Гуччо.

– Друг мой, – прервал его Альбицци, тонко улыбнувшись, – вы, как я вижу, еще очень юны. Здесь, да и повсюду, имеются люди, которые не принадлежат ни к одной из соперничающих партий, но умеют извлекать немалую выгоду, используя одну против другой. Для этого нужно лишь правильно распределять улыбки и любезные слова, уметь играть на слабостях великих мира сего, наконец, знать их лучше, чем сами они себя знают. Я уже наметил план действий.

Альбицци кликнул своего писца, быстро набросал несколько строк на листке бумаги и скрепил ее своей печатью.

– Вы попадете в Вестминстер сегодня же после обеда, друг мой, – отослав писца, обратился он к Гуччо, – и королева даст вам аудиенцию. Для всех прочих вы будете торговцем драгоценными камнями и ювелирными изделиями, нарочно прибывшим из Италии и рекомендо-

ванным мной. Подобно всем женщинам, Изабелла питает слабость к красивым вещам. Вы предложите ей драгоценности и тем временем выполните ваше поручение.

Альбицци подошел к огромному сундуку, открыл его и вынул оттуда красный, обитый бархатом ларец, окованный золотом.

– Вот ваши верительные грамоты, – сказал он.

Гуччо поднял крышку: перстни со сверкающими камнями, тяжелые жемчужные ожерелья, зеркальце в оправе из алмазов и изумрудов – все это покоилось на дне ларца.

– А вдруг королева пожелает приобрести какую-нибудь из этих драгоценностей, что мне тогда делать?

Альбицци усмехнулся:

– Никогда королева ничего не купит прямо у вас, ибо считается, что у нее нет денег, и за ее расходами строго следят. Если ей что-нибудь приглянется, она даст мне знать. Прошедший месяц я изготовил для нее три кошель, за которые мне еще не уплачено.

После обеда – Альбицци не преминул попросить извинения, что для дорогого гостя не успели ничего приготовить и придется довольствоваться обычной трапезой, хотя не в каждом королевском дворце подавали такие роскошные кушанья, – Гуччо сел на коня и отправился в Вестминстерский дворец. Его сопровождал слуга банкира, некто вроде телохранителя, в черном кафтане, человек бычьей силы; ларец, обитый бархатом, прикрепили к его поясу толстой цепью.

Сердце Гуччо бешено билось в груди, его переполняла гордыня, и он восседал на коне, высоко вскинув голову; самоуверенно улыбаясь, оглядывал он английскую столицу так, словно завтра она должна была стать его собственностью.

Вестминстерский дворец мог бы поразить даже знатока своими гигантскими масштабами, но его портило множество излишних украшений, и Гуччо он показался решительно дурного тона, тем более по сравнению с постройками, что возводились в те годы в Тоскане и особенно в Сиене. «У этих людей и так уж нет солнца, а они еще стараются не пропустить внутрь дома ни одного луча», – подумалось ему.

Он вошел в главные ворота и вступил под своды, где королевские стражники грелись вокруг пылающих костров. К гостю приблизился конюший.

– Синьор Бальони? Вас ждут. Я вас проведу, – сказал он по-французски.

В сопровождении слуги, который нес ларец с драгоценностями, Гуччо отправился вслед за конюшим. Они пересекли двор, окруженный аркадами, потом второй, потом поднялись по широкой каменной лестнице и вошли во внутренние покои. Потолки здесь были непомерно высоки, и шаги как-то особенно гулко отдавались под сводами; повсюду царил полумрак. Впереди открывалась бесконечно длинная анфилада холодных зал и темных галерей, и, по мере того как они продвигались, Гуччо чувствовал, что стал даже как-то меньше ростом, хотя старался держаться с прежней самоуверенностью. Тут можно было умереть, и никто бы даже не обнаружил твоего трупа. В конце коридора длиной в двадцать туазов Гуччо заметил группу людей в роскошных костюмах, отороченных мехом, у каждого на боку блеснул эфес меча. Это была стража королевы Изабеллы.

Конюший попросил посетителей обождать и ушел, оставив Гуччо среди придворных, которые насмешливо поглядывали на итальянца и обменивались замечаниями на английском языке, непонятном для гостя. Внезапно Гуччо почувствовал, что его охватывает смутный страх. А что, если случится что-нибудь непредвиденное? А вдруг эти придворные, которые принадлежат к различным враждующим кланам и ведут непрерывные интриги, сочтут его личностью подозрительной? Вдруг, прежде чем удастся повидать королеву, его схватят, обыщут, найдут на нем секретное послание? Все ужасы, которые только может породить воспаленное воображение, завладели им. Страх юноши удвоился при мысли, что его волнение будет замечено и выдаст его.

Когда конюший, вернувшись из королевских покоев, коснулся плеча Гуччо, тот вздрогнул всем телом и поспешно выхватил ларец из рук посланного с ним слуги Альбицци. Он совсем забыл, что ларец наглухо прикован цепью к поясу, и протащил телохранителя за собой несколько шагов. Цепь запуталась, замок устоял против рывка. Раздался хохот, и Гуччо понял, до чего он смешон и неловок. Поэтому-то в покои королевы он вошел с переконфуженным видом, чувствуя себя скованным, униженным, и сам не заметил, как очутился перед Изабеллой.

Держась, по обыкновению, очень прямо, королева сидела на высоком кресле, которое перепуганному Гуччо показалось тронem; она приняла итальянского купца в том самом помещении, где не так давно состоялась ее встреча с Робером Артуа. Рядом на табурете неподвижно, как манекен, сидела молодая женщина с узким лицом. Гуччо преклонил колена, но тщетно старался он вспомнить приготовленные заранее слова приветствия. Он почему-то вообразил – откуда только взялась эта глупая уверенность? – что королева примет его наедине. Присутствие посторонней особы довершило крушение всех его надежд.

Первой заговорила королева.

– Леди Диспенсер, – произнесла она, – этот юный итальянец принес нам прелестные безделушки. Говорят, они просто чудо.

Имя Диспенсер окончательно добило юного Гуччо и заставило его насторожиться. Какую, в сущности, роль могла играть представительница этой фамилии при особе королевы Англии? Поднявшись с колен по знаку Изабеллы, Гуччо открыл ларец и поднес его дамам. Леди Диспенсер, едва взглянув на драгоценности, сухо отчеканила:

– Действительно, вещи превосходные, но нам они ни к чему. Мы не можем их приобрести, ваше величество.

Королева недовольно нахмурилась, но, сдержав гнев, холодно произнесла:

– Я знаю, сударыня, что вы, ваш супруг и все ваши родные так усердно печетесь о государственной казне, как будто она ваша собственность. Но здесь, уж не взыщите, я сама распоряжаюсь своими личными средствами... Впрочем, я замечаю, сударыня, что, когда во дворец является какой-нибудь чужеземец или купец, французских придворных дам удаляют как бы невзначай из моих покоев, а со мной остаетесь вы или ваша свекровь, а это уж слишком явно напоминает стражу. Думаю, если бы эти драгоценности были показаны моему и вашему супругу, они бы нашли возможность украсить ими себя и друг друга, чего не осмеливаются сделать женщины.

Хотя Изабелла старалась держать себя в руках, в ее словах, в звуке ее голоса нет-нет да и прорывалась затаенная злоба против гнусного семейства Диспенсер, которое не только превратило в посмешище английский королевский двор, но и беззастенчиво запускаяло руку в государственную казну. Помимо того что отец и мать молодого Диспенсера пользовались позорной страстью короля к их сыну, сама жена сына по доброй воле соглашалась на эту скандальную связь и всячески способствовала ей. Леди Диспенсер-младшая, в девичестве Элеонора де Клэр, была к тому же свояченицей покойного рыцаря Гавестона, другими словами, Эдуард II выдал замуж ближайшую родственницу своего казненного любимчика за теперешнего своего фаворита.

Элеонора Диспенсер с оскорбленным видом выслушала отповедь королевы, молча поднялась с места и, отойдя в угол огромной залы, стала возиться там, искоса наблюдая за королевой и юным итальянцем.

Наконец-то Гуччо хоть отчасти обрел свой обычный апломб, который был одним из основных свойств его характера и который сегодня вдруг так некстати исчез, наконец-то осмелился он взглянуть в лицо Изабелле. Или сейчас, или никогда должен он был дать понять королеве, что всей душой предан ей, что скорбит о ее несчастьях и что самое заветное его желание – служить ей. Но кровь застыла в его жилах, когда он увидел перед собой это ледяное, такое равнодушное лицо. Бесспорно, она была красива, но красота ее отметала все мысли о

желании, нежности или даже близости заговорщиков. Гуччо глядел на нее, и ему казалось, что перед ним не живая женщина, а статуя Девы Марии. Прекрасные голубые глаза смотрели тем же пристальным, немигающим взглядом, как у ее отца – короля Филиппа. Нет, просто невозможно заявить такой женщине: «Мадам, мы почти ровесники, оба мы еще так молоды, и я так мечтал полюбить вас». Казалось, кровь предков, королевский сан, священный долг – все это воздвигало преграду между ней и прочими смертными, и даже само время, даже сама ее плоть подчинялись иным законам, чем те, что писаны для обычных людей.

Все, на что оказался способен наш Гуччо, – это снять с пальца железный перстень, врученный ему Робером Артуа, украдкой от чересчур бдительной леди Диспенсер протянуть его королеве.

– Ваше величество, не соблаговолите ли вы взглянуть на этот перстень, особенно на печатьку?

Королева взяла перстень, молча кивнула, и на ее прекрасном лице не дрогнул ни один мускул.

– Что ж, он мне нравится, – ответила она. – Надеюсь, у вас есть и другие предметы работы того же мастера?

Гуччо сделал вид, что роется в ларце, даже пропустил сквозь пальцы жемчужное ожерелье и, ловко вытащив зашитое в камзоле письмо, протянул его королеве со словами:

– Тут указаны цены.

Изабелла поднялась, взором приказав Гуччо следовать за ней, подошла к амбразуре окна, чтобы без помех прочесть письмо Робера.

– Когда вы возвращаетесь во Францию? – шепнула она.

– В ту самую минуту, когда вам угодно будет мне приказать, ваше величество, – тоже шепотом ответил Гуччо.

– Передайте его светлости Артуа, что я в скором времени прибуду во Францию и все пойдет так, как мы с ним условились.

На лице ее выступила легкая краска оживления, она внимательно вглядывалась, увы, не в прекрасного посланца, а во врученное им послание. И, движимая истинно королевским желанием щедро вознаградить человека, оказавшего ей услугу, она быстро добавила:

– Я скажу его светлости Артуа, чтобы он отблагодарил вас за ваши хлопоты, в данный момент я не в состоянии сделать это сама.

– Лучшая для меня награда – это счастье видеть вас и служить вам, ваше величество.

Изабелла поблагодарила Гуччо легким наклоном головы, будто слугу, и он сразу понял, что между правнучкой государя Людовика Святого и племянником тосканского банкира лежит такая глубокая пропасть, которую ничто и никогда не заполнит.

Повысив голос, чтобы леди Диспенсер могла слышать их разговор, Изабелла произнесла:

– Я сообщу вам через Альбицци свое решение относительно этого жемчужного ожерелья. Прощайте, мессир.

И она жестом отпустила Гуччо.

А Гуччо, вновь преклонив перед английской королевой колена, вышел из комнаты. Он радовался удачному завершению своей миссии, но с горечью вспоминал свои несбывшиеся мечтания.

Глава IV. Заемное письмо

Хотя Альбицци любезно уговаривал гостя побыть еще немного, Гуччо, крайне недовольный самим собой, решил уехать из Лондона на заре следующего дня. Как он, свободный гражданин города Сиены, он, который до сегодняшнего дня считал себя равней любому дворянину, как мог он до такой степени потерять самообладание в присутствии королевы! Никогда он себе

не простит. Ибо при всем желании забыть этот эпизод всю жизнь будет он помнить, что язык у него прилип к гортани, сердце забилося чересчур сильно и что сам он еле устоял на ногах, когда очутился перед королевой Англии, а она даже не соизволила ему улыбнуться. «В конце концов, она такая же женщина, как и все прочие, чего я так перетрусил?» – сердито твердил он про себя. Но твердил он это, находясь далеко, уж очень далеко от Вестминстерского дворца.

Обратный путь за неимением попутчиков пришлось совершить в одиночестве, и Гуччо не переставал казнить и казниться всё и вся. В таком хмуром расположении духа он ехал всю дорогу, и чем ближе приближался к Франции, тем сильнее хмурился.

Ступив на французскую землю, он уже твердо верил, что все англичане просто варвары. Зачем английский двор не оказал ему, Гуччо, того приема, на который он рассчитывал, зачем не воздали ему там королевских почестей? Разве он их не заслужил? А что до королевы Изабеллы, так ежели она несчастлива, ежели супруг ею пренебрегает – значит сама виновата. «Как! Переплыть море, рисковать жизнью – и получить в награду за все лишь холодный кивок головой, словно ты простой слуга! Эти люди усвоили себе важные манеры, но все это чисто внешнее, а в сердце у них нет величия, они способны убить самую беззаветную преданность. Поэтому и не удивляйтесь, пожалуйста, что вас так мало любят и так часто вас предают».

Проезжая по тем самым дорогам, где всего неделю назад Гуччо уже видел себя послом и любовником королевы, он начал понимать, что не всегда фортуна спешит навстречу юношам, вопреки утверждению волшебных сказок. Но рано или поздно он возьмет свое. Как, кто ему заплатит за все – он еще не знал, но был уверен, что так оно и будет.

И первым делом, раз уж короли и сама судьба судили ему быть лишь ломбардским банкиром, он покажет, какие бывают ломбардские банкиры. Его дядя банкир Толемеи поручил ему посетить их отделение в Нофль-ле-Вье и получить долг по заемному письму. Что ж! Должники и не подозревают, какая буря вскоре обрушится на их головы!

Держа путь через Понтуаэ, чтобы достигнуть Иль-де-Франса, Гуччо, который дня не мог прожить, не разыгрывая для собственного самоуслаждения какой-нибудь роли, уже готовился выступить в качестве неумолимейшего из кредиторов. По сравнению с ним даже знаменитый венецианский еврей, который, если верить легенде, потребовал за фунт золота фунт человеческого мяса, даже он показался бы агнцем Божиим.

В Нофль Гуччо прибыл на заре Дня святого Гугона. Отделение банка Толемеи помещалось неподалеку от церкви, на главной площади городка, прилепившегося к откосу холма.

Гуччо заставлял служащих банка, затребовал все счета и книги, перевернул все отделение вверх дном. Чего смотрит здешний главный доверенный? Неужели необходимо беспокоить его, Гуччо Бальони, его, племянника главы компании, из-за такого пустяка, как долг в триста ливров, который почему-то никак не могут получить без него? Во-первых, кто такие эти самые владельцы замка Крессе, те, что должны компании триста ливров? Ему сообщили, что глава семейства скончался, – Гуччо это и сам знает. Ну а еще кто? Два сына, двадцати и двадцати двух лет. Чем они занимаются? Ах, охотятся... Значит, просто бездельники. Есть также дочка шестнадцати лет. Урод, конечно, решил юноша. И мать, которая после смерти сира де Крессе заправляет всеми делами. Словом, люди благородного происхождения, но окончательно разорившиеся. Во сколько оценивается их замок и земля? Приблизительно в полторы тысячи ливров. У них еще есть мельница и сотня крепостных.

– И при всем этом вы не можете заставить их раскошелиться? – кричал Гуччо. – Вот увидите, как я возьмусь за дело, тянуть и медлить я не намерен. Где живет прево? В Монфор-л'Амори? Чудесно. Как его зовут? Портфрюи? Отлично. Если мессеры де Крессе сегодня же к вечеру не заплатят долг, я поеду к прево и велю наложить арест на имущество. Понятно?

Гуччо вскочил на коня и поскакал в Крессе с таким чувством, словно ему предстояло одному, без посторонней помощи, овладеть неприступной крепостью. «Или золото, или нало-

жение ареста... Или золото, или наложение ареста, – твердил он про себя. – И пусть вызывают о помощи к Богу, а то и ко всем святым!»

Однако некто возымел такую же мысль раньше, чем Гуччо, и это был сам прево Портфрюи.

Крессе, лежавшее на расстоянии полумили от Нофля, представляло собой довольно обширное поместье, притулившееся на самом краю долины, у высокого берега реки Модры, которую без труда может перескочить всадник.

Замок, как успел заметить Гуччо, был просто-напросто большим и довольно ветхим домом; рва, которому положено защищать каждый приличный замок, не было, его роль играла речушка; башни были низенькие, а кругом дома стояли грязные лужи. Во всем чувствовались бедность и запустение. Крыша во многих местах прохудилась; обитатели голубятни, видно, давно уже разлетелись; покрытые мхом стены пошли трещинами, соседний лес сильно поредел, и в просветы видны были сотни пней.

Когда юный итальянец въехал во двор, там уже шло настоящее побоище. Три королевских пристава, размахивая жезлами, украшенными традиционной лилией, отдавали приказания каким-то оборванцам – очевидно, крепостным мадам де Крессе, а те в панике сгоняли скотину, связывали попарно быков, выносили с мельницы мешки с зерном и швыряли их в повозку прево. Крики приставов, тяжелый топот обезумевших от страха крестьян, блеяние овец, пронзительное кудахтанье кур – все это сливалось в оглушительный шум.

Никто не обратил внимания на вновь прибывшего, никто не принял его коня, и Гуччо самому пришлось привязать коня к столбу с кольцом. Только старик-крестьянин, проходя мимо, обратился к нему:

– Беда пришла в этот дом. Да будь хозяин жив, он бы тут же снова Богу душу отдал. Неправедное дело, ох неправедное!

Дверь, ведущая в дом, была открыта, и оттуда доносились громкие крики спорящих.

«Кажется, я попал сюда не в добрый час», – подумал Гуччо, окончательно разозлившись.

Одним махом он взлетел на крыльцо, пошел на крик и очутился в длинной мрачной зале с каменными стенами и бревенчатым потолком.

Молоденькая девушка, которую он не успел толком разглядеть, выбежала ему навстречу.

– Я прибыл по делам и хотел бы побеседовать с кем-нибудь из здешних хозяев, – бросил Гуччо.

– Меня зовут Мари де Крессе. Мои братья вот тут, и матушка тоже, – нерешительно произнесла девушка, указывая куда-то вглубь залы. – Они сейчас очень заняты...

– Ничего, я обожду, – прервал ее Гуччо.

И, желая показать, что церемониться в таком доме нечего, он уселся перед камином и даже протянул ноги к огню, хотя в этом не было никакой нужды, ибо он ничуть не замерз.

В глубине залы стоял истошный крик. Мадам де Крессе при поддержке двух своих сыновей – высоких и краснолицых парней: одного бородатого, другого безбородого – пыталась дать отпор какому-то человеку, который, как понял Гуччо по отдельным доносившимся до него словам, был прево Портфрюи.

Владелица замка Крессе, больше известная в округе под именем мадам Элиабель, дама пышногрудая, быстроглазая, с достоинством носила свои сорок лет, роскошные телеса и вдовье одеяние.

– Мессир прево, – кричала она, – мессир прево, мой супруг задолжал лишь потому, что снарядил войско для короля, а сам получил на войне больше ран, чем добычи; хозяйство тем временем без мужского глаза пошло вкривь и вкось. Мы всегда платили подать и налоги, всегда раздавали милостыню Божью. Ну-ка назовите мне, кто во всей округе был исправнее нас? И все для того, чтобы жирели да набивали мошну такие люди, как вы, мессир Портфрюи, чьи прадеды пришли сюда босиком, а теперь вы еще и грабить нас вздумали!

Гуччо огляделся вокруг. Несколько табуреток, грубо сколоченных доморощенным столяром, два стула со спинками, вдоль стены простые скамьи, сундуки и поперек комнаты длинная перегородка с занавесью, позади которой виднелся соломенный тюфяк, составляли всю меблировку. Над камином висел старый, полинявший герб-щит, без сомнения принадлежавший покойному сиру де Крессе.

– Я буду жаловаться графу де Дрё! – кричала мадам Элиабель.

– Граф де Дрё не король, а я выполняю королевский приказ, – отбивался прево.

– А я вам не верю, мессир прево. Не верю, чтобы король давал такие приказы – обращаться как с преступниками с людьми, которые получили дворянство два века назад. Значит, все в государстве пошло наперекосяк.

– По крайней мере, дайте нам хоть время, – вмешался бородатый сын. – Мы будем вносить долг в рассрочку – небольшими суммами. Нельзя же брать людей за глотку.

– Хватит болтать! Я вам уже предоставлял рассрочку, а вы и гроша не заплатили, – отрезал прево.

Ручки у него были коротенькие, лицо круглое, говорил он резким тоном.

– Меня на то и назначили прево, чтобы взимать с людей долги, а не слушать их жалобы, – продолжал он. – Вы задолжали казне триста двадцать ливров и восемь су; если у вас такой суммы нет, тем хуже для вас. Я наложу арест на имущество и назначу торги.

«Этот малый, – думал Гуччо, – говорит как раз то, что намеревался я им выложить, и, когда он уберется прочь, мне уже нечего будет взять. Ну и путешествие! Пора, кажется, мне вмешаться».

Гуччо злобно поглядывал на прево, который у него под носом перехватил добычу и испортил эффектную роль, к которой готовился сам юноша.

Молодая девушка, что встретила Гуччо у порога, остановилась неподалеку. От нечего делать он взглянул на нее. Из-под чепчика выбивались пушистые волны чудесных золотистых волос. Кожа у нее была какая-то особенно светлая, глаза темно-синие, огромные, а фигурка тоненькая, стройная, но приятно округлая. Ее, по-видимому, смущало то обстоятельство, что незнакомец попал прямо в разгар отвратительной сцены. Не каждый день в их забытое богом Крессе является столь красивый молодой человек, одетый с роскошью, какой и не видели в их захолустье; и надо же случиться подобному несчастью, что он явился именно сейчас и увидел семейство де Крессе в самом неприглядном свете.

Взгляд Гуччо невольно задержался на Мари. Как ни был он раздосадован, пришлось признать, что зря он оговорил девушку, еще не видя ее. Но мог ли он ожидать, что встретит такую красотку в этом медвежьем углу! Гуччо перевел глаза с лица девушки на ее руки: руки были белые, тонкие, нежные – словом, никак не портили общего впечатления.

А там, в глубине залы, спор разгорелся с новой силой.

– Разве мало того, что я потеряла супруга! Значит, по-вашему, надо еще платить шестьсот ливров, чтобы сохранить наш кров? Я буду жаловаться графу де Дрё! – кричала мадам Элиабель.

– Мы уже внесли триста ливров, – поддержал ее бородатый сын.

– Наложить арест на наше имущество – это значит осудить нас на голод, а продать с молотка – значит обречь нас на смерть, – подхватил безбородый.

– Приказ есть приказ, – настаивал прево, – я в полном праве и непременно назначу торги на ваше имущество, а сейчас наложу на него арест.

И опять этот проклятый прево слово в слово сказал ту самую фразу, которую приготовил Гуччо!

– Какой мерзкий человек, чего он от вас хочет? – вполголоса спросил Гуччо девушку.

– Не знаю, и мои братья тоже не знают; мы в этих вещах ничего не понимаем, – ответила Мари де Крессе. – Кажется, речь идет о налоге на наследство.

– И поэтому он требует с вас шестьсот ливров? – хмуро осведомился Гуччо.

– Ах, мессир, на нас обрушилось такое горе, – ответила девушка.

Их взгляды встретились, и юноше почудилось, что девушка сейчас заплачет. Но нет, она стойко держалась в беде и отвела свои красивые темно-синие глаза только из понятной девичьей скромности.

Гуччо задумался. Весь его гнев обратился сейчас против прево именно потому, что этот мессир Портфрюи слишком явно разыграл злодея, какого намеревался изобразить сам Гуччо. Внезапно, чуть ли не прыжком пересекши залу, юноша подскочил к представителю власти и крикнул:

– Позвольте, мессир прево! Не кажется ли вам, что ваши действия не что иное, как прямой грабеж?

Прево даже застыл от удивления, он сердито обернулся к Гуччо и спросил, кто он такой.

– Не важно, – отрезал Гуччо, – и лучше вам не знать, с кем вы имеете дело, если, не дай бог, ваши подсчеты окажутся неправильными. У меня тоже есть кое-какие основания интересоваться наследством сира де Крессе. Соболаговолите сказать, во сколько вы оцениваете их недвижимое имущество?

Прево попытался было осадить незнакомца и пригрозил кликнуть приставов, но Гуччо продолжал:

– Берегитесь! Вы разговариваете с человеком, который еще вчера был гостем ее величества королевы Англии и во власти которого завтра же довести до сведения мессира Ангеррана де Мариньи о том, как бесчинствуют его люди. Итак, потрудитесь ответить, что стоит это поместье?

Слова Гуччо произвели на присутствующих ошеломляющее впечатление. Услышав имя Мариньи, прево растерялся; семейство де Крессе умолкло, с удивлением и любопытством глядя на неожиданного защитника, а самому Гуччо показалось, что он стал выше на целых два дюйма.

– Крессе оценено судом в три тысячи ливров, – с трудом выдавил из себя прево.

– Что я слышу? – воскликнул Гуччо. – Оценен в три тысячи ливров этот деревенский замок, тогда как Нельский отель – одно из самых прекрасных зданий Парижа, служащее жилищем его высочеству королю Наваррскому, записан в налоговых списках всего в пять тысяч ливров? Не слишком ли щедр ваш суд на оценку?

– Но ведь учитываются и земельные угодья.

– Все на круг стоит полторы тысячи, и мне это известно из самых верных источников.

Над левым глазом прево было родимое пятно, напоминавшее формой и цветом зрелую клубнику; когда же прево изволил гневаться, клубника из красной становилась темно-фиолетовой. Во время разговора Гуччо не спускал глаз с этой злополучной бородавки, чем окончательно смутил мессира Портфрюи.

– А теперь соболаговолите сказать, каков налог на наследство? – продолжал Гуччо.

– Четыре су на ливр, по судебному установлению.

– Лжете, мессир Портфрюи, и лжете неискусно. Для людей благородного происхождения суд во всех случаях устанавливает два су на ливр. Не вы один знаете законы – представьте, что и мне они прекрасно известны. Этот мессир пользуется вашим незнанием законов, чтобы ободрать вас как липку с помощью своих мошеннических махинаций, – обратился Гуччо к семейству де Крессе. – Именно с целью вас ошарашить он говорит от имени короля, однако ж он почему-то не счел нужным сообщить вам, что только часть налогов и податей с арендной платы он внесет в государственную казну, согласно ордонансу, и что весь излишек он попросту прикарманит. А если он назначит ваше имущество к продаже, кто купит замок Крессе – конечно же, не за три тысячи ливров, а за полторы или просто возьмет за долги? Боюсь, что именно вы, мессир прево, готовитесь стать владельцем этого замка!

Все раздражение Гуччо, вся его досада, весь его гнев, все его злые чувства, накопившиеся за обратный путь, излились на голову прево. Чем дольше говорил он, тем сильнее он распалялся. Наконец-то представился случай показать себя во всем блеске, нагнать страху, сыграть роль человека, наделенного властью. Так, сам того не замечая, юноша перешел в тот лагерь, который намеревался атаковать как вражеский, и выступал сейчас в качестве защитника слабых, восстанавливающего попорченную справедливость.

А прево, слушая разглагольствования итальянца, побледнел как полотно, и только несчастная клубника ярко лиловела на его круглом, свежем, а теперь помертвевшем от страха лице. Он смешно размахивал своими коротенькими ручками, словно утка, хлопающая крыльями. Он протестовал, он клялся, что действует по совести. Ведь не он сам подсчитывает сумму долгов. Конечно, могла вкрасьться досадная ошибка... Могли просчитаться, скажем, служащие отделения или судебские писцы.

– Хорошо, мы сейчас сами подсчитаем, – сказал Гуччо.

В пять минут он доказал прево, что семейство де Крессе должно только сто пятьдесят ливров в переводе на парижский денежный курс.

– А сейчас потрудитесь приказать вашим людям немедленно же распрячь быков, отнести обратно на мельницу мешки с зерном, и вообще – оставьте в покое этих честных людей!

И, схватив прево за рукав, Гуччо вывел его прочь из комнаты. Мессир Портфрюи беспрекословно покорился, он крикнул своим приставам, что получилась ошибка, что нужно все проверить, что придется приехать сюда еще раз, а пока все срочно поставить на место. Он решил, что уже отделался, но Гуччо втащил его обратно в залу и там потребовал:

– Ну а сейчас отдайте нам сто пятьдесят ливров.

Ибо Гуччо так вошел в роль защитника семейства де Крессе, до того вошел в их интересы, что уже говорил теперь «мы», отождествляя себя с ними.

Этого прево уже не мог стерпеть, он чуть было не задохнулся от гнева, но Гуччо быстро его успокоил.

– Может быть, я ослышался, – язвительно произнес он, – может быть, меня обманул слух, но, если я не ошибаюсь, вы сами сказали, что уже получили за прошедшее время триста ливров?

Братья де Крессе подтвердили правильность его слов.

– Итак, мессир прево, пожалуйста сюда полтора ста ливров, – продолжал Гуччо, протягивая руку.

Толстяк Портфрюи яростно защищался. Что заплачено, то заплачено. Надо сначала проверить находящиеся у него счета. К тому же и суммы такой у него при себе нет. Он еще вернется сюда.

– Будет несравненно лучше, если при вас окажется требуемая сумма. Неужели за сегодняшний день вы не собрали хоть небольшой дани, а?.. Досмотрщики мессира де Мариньи быстры на расправу, – торжественно заявил Гуччо, – и для вас куда выгоднее покончить с этим делом незамедлительно.

Прево стоял в нерешительности. Кликнуть на подмогу приставов? Но молодой человек, видно, не в меру горяч и к тому же вооружен. Да тут еще торчат два брата де Крессе, а их заморышами никак не назовешь, да и рогатины, с которыми они ходят на медведя, совсем рядом, на сундуке. И уж конечно, вступятся крепостные – будут господ защищать. Скверная история, лучше в нее не ввязываться, особенно когда все время бубнят у тебя над ухом о мессире Мариньи. Поэтому прево счел за благо сдаться и, вытащив из-под полы кафтана тяжелый кошелек, отсчитал на крышке сундука незаконно взятый излишек. Только после этого Гуччо отпустил домой несчастного прево.

– Вы еще услышите о нас, мессир Портфрюи! – крикнул ему вслед Гуччо.

И затем он снова вернулся в залу, громко хохоча и открывая в смехе свои красивые, белые, тесно посаженные зубы.

Семейство де Крессе окружило незнакомца, мать и сыновья, не помня себя от радости, наперебой благословляли своего спасителя. А прекрасная Мари в неудержимом порыве схватила руку юноши и поднесла ее к губам, но тут же сама испугалась своего предерзостного поступка.

Гуччо уже вошел в новую роль, он искренно восхищался самим собой. Он вел себя совсем так, как полагалось рыцарю, тому рыцарю, которого юноша взял себе за идеал: вот он, странствующий рыцарь, является в заброшенный замок, чтобы спасти молодую девушку от беды, защитить от злых людей вдову и сироток.

– Но скажите же, мессир, кто вы такой, кому, наконец, мы обязаны своим спасением? – спросил Жан де Крессе, тот, что был с бородой.

– Зовут меня Гуччо Бальони, я племянник банкира Толомеи и явился сюда по поводу заемного письма.

При этих словах в зале воцарилось молчание, а лица вдруг окаменели. Де Крессе растерянно и боязливо переглянулись. А Гуччо почудилось, что с него сорвали все его прекрасные рыцарские доспехи.

Первой опомнилась мадам Элиабель. Быстрым движением она схватила золотые монеты, оставленные прево, и, сменив ледяное выражение лица на довольно-таки натянутую улыбку, неестественно оживленным тоном заявила, что еще будет время потолковать, а сейчас она просит, нет, настаивает, чтобы их благодетель оказал им честь – разделит бы с ними их скромную трапезу.

Она засуетилась, разослала своих домочадцев с различными поручениями, а потом, созвав их всех в кухню, наставительно произнесла:

– Помните, дети, что он все-таки ломбардец. А ломбардцев надлежит остерегаться, особенно если они оказывают вам услугу. До чего же огорчительно, что вашему покойному батюшке пришлось прибегать к их помощи. Так дадим же понять этому юному ломбардцу, у которого, впрочем, очень милая мордашка, что денег у нас нет ни гроша, но сделать это следует тонко, чтобы он не забывался – ведь перед ним люди благородного происхождения.

Надо сказать, что мадам де Крессе имела невинную слабость кичиться своим знатным происхождением. Впрочем, слабость эта свойственна большинству небогатых деревенских дворян. Кроме того, она считала, что, сажая с собой за стол человека неродовитого, оказывает ему величайшую честь.

К счастью, братья де Крессе вчера вечером вернулись с охоты с богатой добычей; кроме того, птичница спешно свернула шею двум гусям и одной курице, так что вполне можно было, согласно принятому в господских домах этикету, сделать две перемены, по четыре блюда каждая. На первую решили подать похлебку по-немецки с вареными яйцами, гуся, рагу из зайца и жареного кролика; вторая перемена должна была состоять из кабаньего хвоста в соусе, жирного каплуна, молока с салом и бланманже.

Скромный, весьма скромный обед, однако настоящий пир по сравнению с обычной их трапезой – мучной похлебкой и чечевицей с салом, которыми семейство де Крессе, равно как и местные крестьяне, довольствовались изо дня в день.

Все это требовалось еще приготовить. Из погреба достали вино; стол взгромоздили в зале, на помосте, против одной из скамей. Белоснежная скатерть пышными складками спадала до полу, дабы обедающие могли положить ее конец себе на колени и в случае надобности вытирать о нее руки. В хозяйстве имелись всего две оловянные миски – одна на двоих сыновей, а одна в личном пользовании мадам Элиабель, что указывало на ее привилегированное положение в семье. Блюда поставили посреди стола, и каждый брал рукой приглянувшийся ему кусок.

В покои потребовали трех крестьян, которые обычно выполняли обязанности скотников, и велели им прислуживать за столом. От них слегка разило свинарником и крольчатником.

– Наш хлебодар, – произнесла мадам Элиабель извиняющимся и насмешливым тоном, указывая на хромоного парня, который усердно резал хлеб на толстенные, словно жернова, куски – на них полагалось класть жареное мясо. – Надо вам сказать, мессир Бальони, что его обычное занятие – рубка леса. Поэтому не взывайте...

Гуччо ел и пил с отменным аппетитом. У виночерпия тоже оказалась тяжелая рука, и вино он разливал с таким видом, будто подносил коню ведро воды.

Семейство де Крессе сумело вызвать гостя на разговор, что, впрочем, было не так уж трудно. Он рассказал своим слушателям о буре, застигшей их судно в Ла-Манше, и рассказал так, что хозяева от изумления и страха пороняли куски кабаньего хвоста в соус. Он коснулся всего – последних событий, состояния дорог, тамплиеров, упомянул о лондонском мосте, об Италии, о системе управления Мариньи. По его словам, он был своим человеком у королевы Изабеллы и так подчеркивал секретный характер своей миссии, что слушатели испугались, уж не начнется ли завтра война между двумя державами... «Нет-нет, ничего больше сказать вам не могу, это государственная тайна, и я не вправе ее выдавать». Когда человек хвастает перед слушателями, он сам начинает себе верить, и Гуччо уже искренне верил, что путешествие его удалось на славу, хотя утром думал совершенно противоположное.

Братья де Крессе были славные малые, но уж очень неразвитые, и вряд ли они хоть раз отъезжали от замка дальше чем на десять лье, поэтому они с восхищением и завистью смотрели на этого юношу, который хоть и был моложе их, но успел столько повидать и столького добиться.

Мадам Элиабель, на которой чуть не лопалось нарядное платье и которая от вкусной и обильной пищи вдруг почувствовала тяготы своего вдовства, нежно поглядывала на юного тосканца; ее высокая грудь подымалась резкими толчками, чему она сама немало дивилась, и, вопреки предубеждению против ломбардцев, не могла не восторгаться очаровательным гостем, его кудрявыми волосами, его ослепительно-белыми зубами, его черными глазами, взглядами исподлобья, даже его итальянским присюсюкиванием. Она ловко и незаметно осыпала его комплиментами.

«Бойся лести, – поучал банкир Толомеи своего племянника. – Нет для банкира страшнее опасности, чем лесть. Не может человек устоять, когда про него хорошо говорят, а нам, деловым людям, льстец хуже вора». Но нынче вечером Гуччо забыл благие советы дядюшки и упивался этой хвалой, словно шипучим медом.

По правде говоря, Гуччо старался для Мари де Крессе, для этой молоденькой девушки, которая не сводила с гостя глаз, опущенных длинными золотистыми ресницами. Удивительная у нее была манера слушать, чуть приоткрыв ротик, и, глядя на эти губы, похожие на спелый гранат, Гуччо хотелось говорить еще и еще, а затем впитаться в этот гранат поцелуем.

Жители деревенского захолустья склонны всячески приукрашивать неожиданных гостей. В глазах Мари Гуччо был чуть ли не иноземным государем, путешествующим инкогнито. Нежданный, нечаянный, мечта невозможная, неотступная, и вдруг она стучится в дверь и глядит на тебя живым взглядом, и есть у нее лицо, плечи, есть человеческое имя.

Такое восхищение горело в глазах Мари де Крессе, румянило ее личико, что Гуччо уже к концу обеда решил: никогда еще не видел он девушки прекраснее и не было желаннее ее в целом мире. Рядом с ней королева Англии представлялась ему холоднее могильного камня... «Если бы эта простушка в соответствующем туалете появилась при дворе, она на целую неделю затмила бы всех прославленных красавиц».

Обед затянулся, и, когда немножко захмелевшие хозяева и гость, ополоснув руки в оловянной лохани, встали из-за стола, день уже клонился к закату.

Мадам Элиабель заявила, что просто безумие пускаться в путь в столь поздний час, и обратилась к Гуччо с покорной просьбой переночевать под их бедным, но гостеприимным кровом.

– Вам постеляют здесь, – заключила она, указав на козлы, где могли бы свободно улечься полдюжины человек. – В более счастливые времена здесь спала стража. А теперь спят мои сыновья. Вы разделите с ними ложе.

Хозяйка Крессе простерла свою любезность до того, что самолично удостоверилась, накормили ли конюхи коня гостя, поставили ли его в стойло. Итак, жизнь, которую положено вести рыцарю, искателю приключений, продолжалась, и Гуччо пребывал в полном восторге.

В скором времени мадам Элиабель с дочкой удалились на женскую половину, а Гуччо растянулся на огромном тюфяке в огромной зале бок о бок с братьями де Крессе. Его тут же охватил сон, и он успел только вспомнить губы, похожие на спелый гранат, к которым так сладостно прильнуть поцелуем и впивать, упиваться всей любовью мира.

Глава V. На Нофльской дороге

Гуччо проснулся от нежного прикосновения чьей-то руки к своему плечу. Он чуть было не схватил эту руку, не прижался к ней лицом... Но, открыв глаза, он увидел над собой могучую грудь и улыбающееся лицо мадам Элиабель.

– Сладко ли вам спалось, мессир?

Было уже совсем светло. Чуть смущенный, юноша поспешил заверить хозяйку, что провел под ее кровом самую прекрасную ночь в своей жизни, и, добавил он, сейчас ему хочется поскорее привести себя в порядок.

– Мне просто стыдно, что я перед вами в таком виде, – сказал он.

Мадам Элиабель хлопнула в ладоши, и на пороге появился тот самый колченогий парень, который прислуживал за столом, но сейчас в руке у него был не нож, а топор. Хозяйка приказала ему принести таз с теплой водой и «холсты» – другими словами, полотенца.

– Раньше у нас в замке была мыльня, где мы и мылись, – пояснила она. – Но она развалилась, что и немудрено, ибо построил ее еще прадед моего покойного супруга, а у нас никогда не было свободных средств, чтобы привести помещение в порядок. Теперь там складывают дрова. Ах, до чего же нам, помещикам, трудно живется!

«Сейчас начнет говорить о долге», – подумал Гуччо.

После вчерашних возлияний за обедом у него слегка шумело в голове, и меньше всего при утреннем пробуждении ему хотелось видеть мадам Элиабель. Он осведомился, где Пьер и Жан де Крессе. Оказалось, они уже с зарей уехали на охоту. Затем Гуччо нерешительно спросил о Мари. Мадам Элиабель пояснила, что дочке пришлось отправиться в Нофль за покупками по хозяйству.

– Мне нужно тотчас же уезжать! – воскликнул гость. – Если бы я знал, я мог бы подвезти мадемуазель Мари на своем коне и избавить ее от пешего путешествия.

Но мадам Элиабель не особенно огорчалась тем обстоятельством, что дочери ее пришлось идти пешком, и Гуччо подумал, уж не нарочно ли хозяйка удалила из замка всех своих домочадцев, чтобы остаться с ним наедине. Он укрепился в этой мысли, когда хромой втащил в залу таз, расплескав на пол добрую половину воды, а мадам Элиабель не только не ушла, но осталась под тем предлогом, что нужно-де нагреть перед камином полотенца. Гуччо не вставал, выжидая ее ухода.

– Мойтесь, мойтесь, мой молодой мессир, – повторяла она. – У наших служанок такие лапищи, что они не столько вас вытрут, сколько всего расцарапают. Поэтому-то я сама хочу поухаживать за вами. Ну-ну, не смущайтесь, я ведь вам в матери гожусь.

Пробормотав сквозь зубы слова благодарности, а в душе проклиная предприимчивую даму, Гуччо рискнул наконец предстать перед ней наполовину обнаженным и, избегая глядеть в ее сторону, кое-как омыл теплой водой торс и лицо. Он был худ той худобой, какая свойственна юношам его лет, но, несмотря на невысокий рост, отлично сложен. «Хорошо еще, что она не велела принести большую лохань, а то не миновать бы мне догола раздеваться перед ее светлыми очами. Странные все-таки повадки у этих деревенских жителей».

Когда обряд омовения был окончен, мадам Элиабель подступила к Гуччо с нагретыми полотенцами и собственноручно стала его обтирать. А он думал только о том, что, если сейчас же сесть на лошадь и пустить ее галопом, можно будет догнать Мари на Нофльской дороге или застать ее в городке.

– До чего же у вас нежная кожа, мессир, – вдруг заметила мадам Элиабель игривым тоном, но голос ее предательски дрогнул. – Любая женщина может такой коже позавидовать... воображаю, сколько дам ею любовались. Такой смугловатый оттенок хоть кого с ума сведет.

Продолжая болтать, мадам Элиабель нежно, кончиками пальцев щекотала спину Гуччо. Он поежился, захохотал и невольно обернулся.

Его поразил блуждающий взгляд мадам Элиабель, ее взволнованно вздымавшаяся грудь и какая-то странная улыбка, неузнаваемо менявшая ее лицо. Гуччо поспешил натянуть рубашку.

– Ах, какая прекрасная вещь – молодость, – продолжала мадам Элиабель. – Вот я смотрю на вас и думаю, как вы, должно быть, наслаждаетесь ею, не теряете блаженных часов, которые она дарует.

Гуччо заканчивал туалет, стараясь не привлекать излишнего внимания дамы. Мадам Элиабель замолкла на мгновение, и в наступившей тишине было слышно только ее тяжелое дыхание. Вдруг, не меняя тона, она произнесла:

– А что вы, дорогой мой мессир, намерены делать с нашим заемным письмом?

«Начинается», – подумал Гуччо.

– Конечно, вы можете потребовать от нас все, что угодно, – продолжала она, – вы наш благодетель, и мы благословляем ваше имя. Если угодно, возьмите золотые, что нам отдал этот мошенник прево, они ваши, берите, берите: сто ливров принадлежат вам по праву. Но вы сами видите, в каком мы положении, и мы знаем, мы убедились, сколь вы великодушны и добры!

Меж тем Гуччо под пристальным взглядом мадам де Крессе натягивал штаны и справедливо решил, что сейчас уж никак не время говорить о делах.

– Не может наш спаситель стать нашим злодеем, – продолжала она. – Вы, городские жители, и не подозреваете, в каких стесненных обстоятельствах находимся мы. Если мы еще ничего не внесли в банк в счет погашения нашего долга, то лишь потому, что просто не в состоянии этого сделать. Королевские слуги обдирают нас – вы сами были тому свидетелем. Крепостные работают спустя рукава, не то что раньше. После ордонансов крестьяне только и думают что об освобождении; от них ничего не добьешься, и это мужичье вообразило, что они нам равня, что мы и вы одной с ними породы. Ибо вы хоть и не знатного происхождения, – добавила она с целью дать почувствовать гостю, какую честь оказали господа де Крессе банкирскому племяннику, приняв его запросто в своем дворянском замке, – но вы могли бы вполне быть сеньором. А тут еще если и выдастся, на счастье, один урожайный год, то на следующий все посевы или засуха загубит, или дожди; те жалкие крохи, что собирают с полей, наши мужья расходуют на ведение войны. Иной раз и голову свою там кладут.

Гуччо не намерен был поддерживать этот разговор, его занимала одна мысль – найти Мари, поскорее улизнуть из замка.

– Я такие вопросы решать не полномочен. Это дядюшкино дело, – ответил он.

Но сам уже знал, что проиграл партию.

– Вы могли бы доложить вашему дядюшке, что это не такое уж плохое помещение капиталов; от души желаю ему, чтобы и все остальные должники были столь честными людьми, как мы. Дайте нам отсрочку еще на год: мы все выплатим, даже с процентами. Ну сделайте это ради меня, я буду вам бесконечно признательна, – заключила она, схватив обе руки гостя.

Затем, слегка смутившись, но по-прежнему глядя прямо ему в глаза, мадам Элиабель добавила:

– Так знайте же, дорогой мессир, что со вчерашнего дня, с первой минуты вашего появления у нас – конечно, дама не должна говорить таких вещей кавалеру, но будь что будет – я почувствовала к вам особо дружеское расположение, и ежели бы то зависело от меня одной, чего бы только я не сделала ради вашего удовольствия.

Гуччо растерялся, у него не хватило смекалки ответить: «Что ж, заплатите долг, и я буду вполне удовлетворен».

По всей видимости, прекрасная вдова готова была тут же расплатиться с кредитором, не прибегая к помощи денег, и трудно было сказать, готова ли она пожертвовать своей вдовьей честью ради того, чтобы получить обратно заемное письмо, или же заемное письмо явилось лишь прекрасным предложением оправдать эту жертву.

Как истый итальянец, Гуччо подумал, что неплохо было бы одновременно завязать интрижку и с матерью, и с дочкой. Для любителя роскошных форм мадам Элиабель еще представляла известный интерес: руки у нее были нежные, и грудь при всей своей пышности, должно быть, сохранила прежнюю упругость. «Как дополнительное развлечение это еще куда ни шло, – подумал Гуччо. – Но упустить молоденькую девушку ради пожилой особы – покорно благодарю, так можно испортить все удовольствие от предстоящей игры».

Кое-как Гуччо выпутался из щекотливого положения – в преувеличенно растроганном тоне он поблагодарил прекрасную вдову за доброе к нему расположение и уверил, что сделает все от него зависящее, лишь бы уладить дело; но ему, мол, необходимо срочно отправиться в Нофль, дабы посоветоваться с тамошними служащими дяди.

Благополучно выбравшись во двор, он нашел своего старого знакомого, колченогого парня, велел ему поскорее оседлать лошадь, вскочил в седло и поскакал по направлению к городку. Но никакой Мари на дороге он не обнаружил. Пустив коня в галоп, Гуччо спрашивал себя, действительно ли молодая девушка так хороша, как показалось ему накануне, уж не ошибся ли он, решив, что глаза ее сулят надежду на взаимность, уж не вино ли ввело его в заблуждение, столь обычное после сытного ужина, и стоит ли ему теперь так торопиться. Ибо, как известно, существуют женщины, чей взгляд говорит: «Я твоя, твоя с первой минуты, как тебя увидела», но это обман, просто у них такой взгляд от природы; с тем же точно выражением глядят они на стул, на дерево, и в конце концов от них не добьешься даже поцелуя.

Гуччо не обнаружил Мари и на городской площади. Он осмотрел все прилегающие к площади улочки, заглянул в церковь, пробыл там ровно столько времени, сколько потребовалось на то, чтобы осенить себя крестным знамением и убедиться, что той, которую он ищет, здесь нет; затем отправился в контору. Он обвинил всех трех приказчиков в том, что они плохо осведомлены об истинном положении дел. Семейство де Крессе – люди знатного происхождения, вполне почтенные и платежеспособные. Необходимо отсрочить их заемное письмо. Ну а что касается мессира Портфрюи, здешнего прево, так это же настоящий мошенник... Вот что кричал Гуччо, не спуская глаз с окна. А служащие горестно покачивали головой, глядя на юного безумца, у которого семь пятниц на неделе, и заранее сокрушались о том, какие несчастья постигнут компанию Толомеи, ежели банк целиком перейдет в руки столь неразумного дельца.

– Придется, видимо, бывать тут почаще: здешнее отделение нуждается в наблюдении и контроле, – заключил Гуччо на прощание и, не поклонившись, вышел.

Он вскочил на лошадь и поскакал так, что из-под копыт во все стороны полетели камни. «Может быть, она пошла ближайшей дорогой, – думал Гуччо. – Тогда я увижу ее в замке, но там будет не так легко поговорить наедине...»

Почти при самом выезде из городка он заметил вдали силуэт девушки, торопливо шагавшей в направлении Крессе, и, подъехав, узнал Мари. И вдруг – о чудо! – он услышал щебет птиц, увидел сияние солнца, понял, что сейчас апрель, заметил, что голые до того ветки покрылись на его глазах нежной весенней листвой. Из-за этого платица, мелькавшего среди зеленых лугов, весна, которой неосторожно пренебрегал Гуччо последние три дня, пришла для него во всем своем великолепии.

Он перевел лошадь на тихую рысь и поравнялся с Мари. Она подняла на него глаза, в них он прочел не удивление этой встречей, нет, – они сияли так, будто Мари получила самый бесценный в мире подарок. От ходьбы щеки ее разгорелись, и Гуччо подумал, что она еще красивее, чем он решил накануне вечером.

Гуччо предложил девушке сесть позади него на круп лошади. Мари улыбнулась вместо ответа, и снова приоткрылись ее губы, алые, как спелый гранат. Юноша остановил лошадь у подножия холма и, перегнувшись с седла, подставил Мари руку и плечо. Молодая девушка была легка как перышко; она ловко взобралась на коня, и они тронулись шагом. С минуту оба молчали. Гуччо не знал, как начать разговор. Этот завзятый краснобай не находил слов.

Он чувствовал легкое прикосновение рук Мари и понял, что она не смеет держаться за него крепче. Тогда он спросил, ездила ли она когда-нибудь таким образом на лошади.

– Только с батюшкой и братьями, – ответила она.

Впервые в жизни ехала она так вместе с чужим мужчиной, прикинувшись к нему всем телом. Наконец она осмелела и крепче сжала плечи юноши.

– Вы очень торопитесь домой? – спросил он.

Мари ничего не ответила, и Гуччо нарочно пустил лошадь по боковой тропинке, шедшей вдоль холма.

– Какие красивые у вас здесь места, – наконец нарушил он молчание, – такие же красивые, как в Тоскане.

Со стороны Гуччо это был неслыханно любезный комплимент, доказывающий всю силу его чувств. Но и в самом деле он впервые так остро ощутил прелесть полей Иль-де-Франса. Взгляд юноши терялся в синевато-сизых далах; далеко-далеко, на самом горизонте, их замыкало кольцо холмов и леса, окутанных легкой дымкой; потом взгляд его вновь возвращался к окрестным зеленеющим лугам, которые перемежались широкими нивами, где только что начала колоситься рожь и где зелень была нежного белесоватого оттенка. И снова шли живые изгороди, и уже раскрывал бутоны боярышник.

Гуччо спросил свою спутницу, что за башни виднеются там, далеко на юге, резко выделяясь на фоне зеленых волн. Собравшись с духом, Мари ответила, что это башни Монфор-л'Амори.

Девушка испытывала странное чувство: ее томила боязнь и переполняло счастье, мешавшее ей думать, мешавшее говорить. Куда ведет эта тропка? Она не знала. Куда везет ее всадник? И этого она не знала тоже. Она повиновалась непонятному порыву, который не могла бы определить сама, и это было сильнее всего – сильнее страха перед неизвестностью, сильнее внушенных с детства правил, сильнее наставлений семьи и предостережений исповедника. Ею всецело завладела чужая воля. Руки ее почти судорожно цеплялись за этот плащ, за плечи этого юноши, который сейчас, когда все вокруг готово было рухнуть, казался ей единственной прочной опорой во всем мире. И хотя Мари отделял от Гуччо двойной слой ткани, биение ее сердца отдавалось в его груди.

Лошадь, не чувствуя больше поводьев, встала и потянулась губами к зеленой ветке.

Гуччо спрыгнул, протянул руки Мари и опустил ее на землю. Но, опустив, не разжал объятий и только удивлялся тонкости, хрупкости ее упругого стана. А молодая девушка стояла не шевелясь, пугливой, но покорной пленницей этих обвивших ее рук. Гуччо понимал, что нужно что-то сказать, но слова, обычно легко приходявшие на язык юного соблазнителя, вдруг куда-то исчезли, и вместо них губы сами произнесли по-итальянски:

– *Ti voglio bene, ti voglio tanto bene!*⁵

И хотя Мари не знала итальянского языка, она поняла слова Гуччо – так выразительно прозвучал его голос.

Глядя вблизи на личико Мари, ярко освещенное солнцем, юноша вдруг заметил, что ресницы ее вовсе не золотистые, как показалось ему накануне; Мари была шатенкой с рыжеватым отливом, с нежным румянцем, типичным для блондинок, ее огромные темно-синие глаза смотрели из-под тонко очерченных дугообразных бровей. Откуда же тогда этот золотистый блеск, который исходил от нее? С каждой минутой образ Мари в глазах Гуччо становился все отчетливее, все реальнее, и в этой реальности она была восхитительно прекрасна. Он обнял ее крепче и медленно, нежно провел рукой вдоль ее бедра, вдоль корсажа, будто желая узнать, какова же она на самом деле.

– Не надо, – прошептала девушка, отводя его руку.

Но так как Мари боялась обидеть Гуччо, она повернула к нему свое лицо. Губы ее были полуоткрыты, а веки плотно зажмурены. Гуччо склонился к этим губам, к этому прекрасному плоду, которого он столь страстно желал. И несколько бесконечно долгих секунд они простояли так, прижавшись друг к другу, а кругом щебетали птицы, откуда-то издали доносился собачий лай, и от мощного дыхания самой природы словно вздымалась земля у них под ногами.

Когда они разжали объятия, Гуччо вдруг заметил кривую яблоню, росшую неподалеку; он смотрел на нее не отрываясь, чувствуя, что еще никогда в жизни до сегодняшнего дня не видел ничего более прекрасного и полного жизни, чем этот черный, уродливый ствол. В молодой ржи деловито прыгала сорока, и наш юный горожанин не мог опомниться от этого поцелуя, который он вкусил среди полей.

Счастье осветило лицо Мари, она не спускала глаз с юноши.

– Вы пришли, наконец-то вы пришли, – шептала она.

Ей казалось, что она ждала его все годы, ждала все ночи, что давно уже она знала, видела это лицо.

Гуччо снова нагнулся к ее губам, но девушка на сей раз отстранилась.

– Нет, пора возвращаться, – сказала она.

Она поверила, что большая, настоящая любовь вошла в ее жизнь, и сейчас до краев была полна ею. Ничего ей больше не нужно.

Когда Мари снова уселась на лошадь позади Гуччо, она обвила руками стан молодого сиенца, прижалась головкой к его плечу и гредила под ровный лошадиный шаг, чувствуя себя навеки связанной с человеком, которого ей послал сам Господь Бог.

При всей своей вере в чудеса, в необъятность окружающего мира Мари была лишена от природы дара воображения. Ни на минуту она не подумала, что Гуччо может испытывать какие-то иные ощущения, чем испытывала она сама, что поцелуй, которым они обменялись, может иметь для него не то значение, какое имел для нее.

Она не отстранилась от Гуччо, не приняла подобающей ее положению осанки даже тогда, когда в долине показались крыши Крессе.

Братья уже приехали с охоты. Мадам Элиабель без особого восторга смотрела на Мари, возвращавшуюся в обществе Гуччо. Она сурово осудила поведение дочери, и, увы, отнюдь не потому, что оно противоречило законам приличия, а потому, что ею овладела какая-то непо-

⁵ Я тебя люблю, я так тебя люблю! (*ит.*)

нятная досада. Как ни старались скрывать молодые люди свое счастье, оно слишком ясно читалось на их лицах, и это совсем не понравилось достойной владелице замка Крессе. Но в присутствии молодого банкира она не решилась сделать дочери замечание.

– Я встретил мадемуазель Мари и попросил ее показать мне окрестности, – пояснил Гуччо. – Богатые у вас владения. – И добавил: – Я велел перенести срок уплаты по вашему заемному письму на следующий год: надеюсь, дядя подтвердит мое распоряжение. Разве можно отказать в чем-нибудь такой благородной даме, как вы!

При этих словах Гуччо любезно улыбнулся мадам Элиабель; та покудахтала немного, и досада ее улеглась.

Молодого итальянца осыпали благодарностями; однако, когда он заявил, что уезжает, никто не стал его удерживать. От него добились того, чего хотели. Конечно, этот юный ломбардец – очаровательный кавалер, конечно, он оказал семейству де Крессе огромную услугу... Но в конце концов, они же его не знают. И мадам Элиабель, вспоминая о своих утренних маневрах и о том, как молодой итальянец не совсем вежливо покинул ее, чувствовала смутное недовольство собой. Однако заемное письмо отсрочено, а это самое существенное. Хозяйке замка Крессе очень хотелось думать, что ее прелести сыграли здесь не последнюю роль.

Единственное существо, которое действительно желало, чтобы Гуччо остался, не могло и не смело выразить своих мыслей вслух.

Все присутствующие почувствовали вдруг какую-то неловкость. Тем не менее братья де Крессе чуть ли не силком навязали гостю четверть косули, убитой ими утром на охоте, и взяли с него слово, что он непременно заедет к ним как-нибудь еще. Гуччо обещал и неприметно взглянул при этих словах на Мари.

– Будьте уверены, я не премину вернуться по поводу заемного письма, – произнес он бодрым тоном, надеясь ввести хозяев замка в заблуждение.

Его пожитки приторочили к седлу, и Гуччо вскочил на коня.

Проводив гостя глазами до поворота к Модре, мадам Элиабель облегченно вздохнула и торжественно объявила сыновьям – вернее, самой себе:

– Ну, детки, ваша мама еще не научилась говорить с молодыми щеголями. Я долго над ним билась, и, не поговори я с ним наедине, боюсь, он был бы не так сговорчив.

Опасаясь выдать свои чувства, Мари поднялась к себе в спальню.

По пути в Париж, пустив коня галопом, Гуччо с победоносным видом оглядывался вокруг, как и подобает неотразимому соблазнителю, которому достаточно только переступить порог замка, чтобы покорить сердца всех тамошних обитательниц. Образ Мари, ее фигурка, вырисовывающаяся на фоне зеленей, не выходили у него из головы. И он клялся, что вернется в Нофль, непременно вернется, в самом скором времени, может быть, даже на этой же неделе.

Кто из нас не давал в дороге подобных обещаний, которые, увы, редко исполняются в жизни!

Поздней ночью он добрался до Ломбардской улицы и до рассвета беседовал с дядей, банкиром Толомеи. Сверх всякого ожидания дядюшка охотно согласился с доводами Гуччо относительно отсрочки заемного письма: у старого ломбардца были иные заботы. Только раз он проявил живой интерес к рассказу племянника – когда тот поведал ему о махинациях прево Портфрюи.

Весь остаток ночи Гуччо проспал тревожным сном, и ему грезилась одна лишь Мари, так, по крайней мере, решил он, встав с постели. Но на следующий день он думал о ней уже меньше.

В Париже он свел знакомство с двумя хорошенькими двадцатилетними горожанками, женами купцов, которые не слишком мучили отказами юного итальянца. Через несколько дней Гуччо окончательно забыл об одержанной им в Нофле победе.

Но судьбы человеческие свершаются не вдруг, и никому не ведомо, какому из его случайных поступков суждено дать ростки, почки, ветви. Никому и в голову не могло прийти, что

поцелую, которым обменялись влюбленные возле ржаного поля, суждено в один прекрасный день изменить историю Франции и привести прекрасную Мари к королевской колыбели.

А в Крессе Мари продолжала ждать.

Глава VI. На Клермонской дороге

Через двадцать дней после описанных нами событий в маленьком городке Клермон на Уазе царило необычное оживление. Все улицы, от замка до городских ворот, от дома прево до собора, запрудили толпы народа. На площади и в тавернах слышался веселый гул голосов. Из всех окон свисали разноцветные полотнища – недаром глашатаи ранним утром возвестили, что в Клермон прибывает его высочество Филипп, граф Пуатье, средний сын короля, и его высочество Карл Валуа, дабы встретить от лица самого короля их сестру и племянницу – королеву Англии Изабеллу.

Изабелла, за два дня до того ступившая на французскую землю, теперь держала путь в Пикардию. Нынче утром она выехала из Амьена и, если все пойдет как положено, к концу дня прибудет в Клермон. Здесь королева переночует и на следующий день вместе со своей английской свитой, к которой присоединится свита французская, отбудет в Понтуаз, где в замке Мобюиссон поджидает ее отец, король Филипп.

После вечерни прево и командир клермонского гарнизона, а также старшины, предупрежденные о скором прибытии особ королевского дома, двинулись к Парижским воротам, дабы вручить прибывшим принцам ключи от города. Филипп Пуатье, скакавший впереди эскорта, выслушал поздравления с благополучным прибытием и первым въехал в город.

Следом за ним в облаках пыли, поднятой копытами коней, проникли в городские ворота более сотни дворян, конюших, слуг и стражников, его личная свита и свита Карла Валуа.

Над толпой всадников возвышался могучий торс Робера Артуа, он по всему пути следования привлекал взоры встречающих. И впрямь этот сеньор, сидевший на огромном першероне серой масти в яблоках – по всаднику и конь, – этот сеньор в красных сапогах, в красном плаще и в красном бархатном полукафтани, одетом на кольчугу, имел достаточно грозный вид. Тогда как большинство всадников явно устали, он держался прямо, глядел бодро, словно только что сел в седло.

И в самом деле, всю дорогу от Понтуаза Робера Артуа поддерживало, придавало силы пьянящее чувство близкой победы. Один только он знал истинную цель путешествия, принятого молодой английской королевой, один только он знал, какие страсти, вызванные к жизни его ненасытным желанием мести, потрясут вскоре королевский двор Франции. И он заранее втайне предвкушал упоительную сладость отмщения.

Во время всего пути он не спускал глаз с Готье и Филиппа д'Онэ, которые тоже участвовали в кортеже: первый в качестве конюшего графа Пуатье и второй в качестве конюшего Карла Валуа. Оба брата по-детски радовались поездке, возможности повидать новые места, покрасоваться в королевской свите. Желая особенно блеснуть, они в простоте душевной, а также и из тщеславия прицепили к поясу своего нарядного одеяния прелестные кошель, подаренные их возлюбленными. Заметив эти кошель, Робер Артуа почувствовал, как грудь его затопила жестокая радость, и он с трудом подавил неудержимое желание расхохотаться прямо в лицо братьям д'Онэ. «Ну что, красавчики, гусятки, молокососы, – думал он, – улыбайтесь, млейте, вспоминая прелести ваших любовниц. Смотрите, получше запоминайте, ибо вам их больше не видать, и пользуйтесь, наслаждайтесь сегодняшним днем, ибо боюсь, что впереди у вас не так-то уж много счастливых дней. Ваши красивые безмозглые головы скоро треснут, как пустой орех под каблуком».

Подобно тигру, который, убрав страшные когти, забавляется со своей жертвой, Артуа то и дело обращался к братьям д'Онэ с ласковым словом, бросал им на ходу веселую шутку. А те

со дня своего чудесного спасения из подстроенной Робером ловушки у стен Нельской башни питали к нему самые дружеские чувства и искренне считали себя его должниками.

Когда кортеж остановился на главной площади города, братья д'Онэ пригласили Робера Артуа распить с ними жбан местного молодого вина. Поднимая бокалы, молодые люди обменивались шутками. «Пейте, милые братцы, пейте, – твердил про себя Артуа, – запоминайте хорошенько вкус этого вина».

А вокруг них залитая солнцем таверна дрожала от радостных криков и удалых возгласов.

В ликующем городе сновали взад и вперед торговцы, как в дни ярмарки, и от замка к церковной ограде безостановочно двигалась толпа, заставляя свиту придерживать коней.

Огромные полотнища многокрасочных тканей, украшавшие оконницы, бились по ветру. Прискакавший галопом всадник сообщил, что королевский кортеж приближается, и суматоха еще усилилась.

– Поторопите людей, – обратился Филипп Пуатье к Готье д'Онэ, который, услышав о приезде королевы, поспешил к своему господину.

Затем Филипп обернулся к дяде Карлу Валуа.

– Мы подоспели как раз вовремя. Королеве не пришлось нас ждать.

Карл Валуа, весь в голубом бархате, с побагровевшим от усталости лицом, молча наклонил голову. Он прекрасно обошелся бы и без этой сумасшедшей скачки и был поэтому в самом угрюмом расположении духа.

Звонарь ударил в соборные колокола, и медный гул прокатился вдоль городской стены. Кортеж тронулся по Амьенской дороге.

Робер Артуа решительно приблизился к лицам королевского дома и поскакал бок о бок с Филиппом Пуатье. Пусть Робера лишили законных прав на наследство, он как-никак доводится королю родственником, и его место среди коронованных особ Франции. Глядя на тонкую руку Филиппа Пуатье, сжимавшую поводья темно-рыжего коня, Робер думал: «Ради тебя, мой тощий кузен, ради того, чтобы отдать тебе Франш-Конте, у меня отняли Артуа. Но раньше чем наступит завтрашний день, твоей чести будет нанесена такая глубокая рана, от которой ты не так-то легко справишься».

Филиппу, графу Пуатье и супругу Жанны Бургундской, был двадцать один год. И физическим своим обликом, и душевными качествами он резко отличался от всех прочих членов королевского дома. В нем не было ни красоты и властности отца, ни тучности и запальчивости дяди Карла Валуа. Высокий, худощавый, с тонким лицом, с неестественно длинными руками и ногами, Филипп говорил ясным, суховатым голосом, был скуп на жесты; все в нем: черты лица, скромная одежда, вежливая, размеренная речь – все свидетельствовало о решительном нраве, о рассудительности, когда голова управляет движениями сердца. Уже теперь, несмотря на молодость, он был в государстве крупной силой, с которой приходилось считаться.

На расстоянии одного лье от Клермона оба кортежа – свита английской королевы и французских принцев – встретились. Восемь глашатаев французского королевского дома выстроились вдоль дороги и, подняв вверх трубы, бросили в небеса протяжный унылый зов. Им ответили английские трубачи, но их трубы, внешне похожие на французские, звучали громче и пронзительнее. Лишь после этого принцы выступили вперед. Изабелла, красиво сидевшая на рослом белом иноходце, гордо выпрямив тонкий, стройный стан, выслушала приветственное слово своего брата Филиппа Пуатье. Затем к руке племянницы приложился Карл Валуа; за ним вперед выступил граф Робер Артуа; склонившись в поклоне, он выразительно взглянул на молодую королеву, и она поняла, что все идет так, как они предвидели.

Пока шел обмен любезностями, вопросами и новостями, оба эскорта молча приглядывались друг к другу. Французские рыцари критически изучали одеяния англичан; а те, горделиво выпятив закованную броней грудь, на которой красовались три традиционных английских

льва, всматривались в французов светлыми глазами, неподвижные и высокомерные; чувствовалось, что они знают себе цену и не хотят ударить лицом в грязь перед чужеземцами.

Вдруг из-под балдахина белых с золотом носилок, которые несли за королевой, раздался детский плач.

– Так, значит, сестра, – спросил Филипп, – вы взяли с собой нашего племянника? Не слишком ли трудный путь для такого крошки?

– Было бы неосторожно оставить его в Лондоне. Вы же сами знаете, кто меня там окружает, – ответила Изабелла.

Филипп Пуатье и Карл Валуа осведомились у королевы Англии о цели ее путешествия; она кратко ответила, что просто хочет повидаться с отцом, и они поняли, что пока больше ничего не узнают.

Изабелла сказала, что немного утомилась с дороги; она тут же сошла с белого своего иноходца и пересела в огромные носилки, которые несли два мула, разубранные бархатом, – один был впряжен впереди, другой позади. Обе свиты тронулись по направлению к Клермону.

Воспользовавшись тем обстоятельством, что Пуатье и Валуа снова заняли места во главе кортежа, Робер осадил своего першерона и поехал шагом рядом с носилками.

– А вы все хорошеете, кузина, – сказал он.

– Не лгите так безбожно; откуда бы взяться красоте после двенадцатичасового пути, да еще по такой пыли? – возразила королева.

– Если человек любил ваш образ, лелеял его в памяти в течение многих недель, он не замечает пыли, он видит лишь ваши глаза.

Изабелла откинулась на подушки. Ее снова охватила та странная слабость, которую она испытала тогда в Вестминстере при встрече с Робером. «Действительно ли он меня любит, – думала она, – или просто говорит мне комплименты, как, должно быть, говорит каждой женщине?» Сквозь неплотно закрытые занавеси носилок она видела серый в яблоках конский круп, большущий красный сапог и золотую шпору графа Артуа; видела гигантскую ляжку с узлами мощных мускулов; и она невольно спросила себя, а что, если всякий раз, при любой встрече с этим человеком, она будет испытывать то же смывание, то же желание забыться, ту же надежду проникнуть в неведомый доселе мир... Огромным усилием воли королева овладела собой. Ведь не ради этого она приехала сюда.

– Послушайте, кузен, – обратилась она к Артуа, – сообщите мне поскорее все, что вам удалось узнать, тем паче что сейчас мы можем поговорить свободно.

Робер еще ниже нагнулся к носилкам и, делая вид, что показывает королеве окрестности, быстро рассказал ей все, что узнал, все, чего ему удалось добиться, упомянул о слежке, которую он установил за принцессами, о засаде, которую он устроил у Нельской башни.

– Кто же эти люди, что бесчестят корону Франции? – спросила Изабелла.

– Они едут в двадцати шагах от вас. Они состоят в сопровождающей вас свите.

И Робер сообщил королеве сведения о братьях д'Онэ, о размере их ленных владений, об их ближайших родственниках и об их дружеских связях.

– Я хочу их видеть, – сказала Изабелла.

Артуа помахал рукой братьям д'Онэ, и они приблизились к носилкам.

– Королева изволила вас заметить, – сообщил им Робер, лукаво подмигнув, – я ей тут кое-что порассказал о вас.

Лица обоих д'Онэ расцвели от гордости и удовольствия.

Великан подтолкнул их поближе к носилкам, словно добрый опекун, желающий осчастливить своих подопечных, и, пока юноши почтительно раскланивались перед королевой, чуть не касаясь гривы своих рысаков, Робер говорил с наигранным простодушием:

– Ваше величество, разрешите представить вам мессиров Готье и Филиппа д’Онэ, самых преданных конюших вашего брата и вашего дядюшки. Молю вас быть к ним благосклонной. Ведь я отчасти им покровительствую.

Изабелла на мгновение вскинула глаза на склонившихся перед ней юношей, как бы желая узнать, что именно в их лицах, во всем их облике заставило невесток короля забыть свой долг. Конечно, оба они красивы, а вид красивого мужчины всегда несколько смущал Изабеллу. Вдруг она заметила кошель, прицепленные к поясам обоих братьев, и сразу же перевела взор на Робера. А тот еле приметно улыбнулся. Отныне он может отойти на второй план. Совершенно незачем брать на себя в глазах всего двора роль доносчика. Этой случайной встречи достаточно, чтобы погубить обоих конюших. «Недурно сработано, Робер, недурно сработано!» – похвалил он себя.

Братья д’Онэ, полные самых радужных надежд, повернули коней, спеша занять свое место в процессии.

А из ликующего Клермона уже доносился приглушенный гул голосов, приветствующих двадцатидвухлетнюю красавицу королеву, которая несла французской короне неслыханное бедствие.

Глава VII. По отцу и дочка

Вечером в день приезда Изабеллы король Филипп сидел с дочерью в кабинете замка Мобюиссон, где он любил пожить неделю-другую в полном одиночестве.

– Здесь я советуюсь сам с собой, – пояснял король домашним в один из тех счастливых дней, когда удостаивал их разговором.

Серебряный подсвечник с тремя рожками бросал неяркий свет на стол, на пачку пергаментов, которые Филипп только что просмотрел и подписал. Окутанный вечерними сумерками, глухо шумел парк, и Изабелла, повернув лицо к темному окну, смотрела, как постепенно ночная тень поглощает одно за другим столетние деревья.

Со времен Бланки Кастильской замок Мобюиссон, расположенный неподалеку от Понтуаза, стал жилищем королей, а Филипп превратил его в свою загородную резиденцию. Ему полюбилась эта укромная вотчина, отгороженная от мира высокими стенами, полюбился огромный парк, палисадники, аббатство, где мирно жили сестры бенедиктинки. Сам замок был невелик, но Филипп Красивый ценил его за тот покой, который не могли дать ему другие, более роскошные его владения, и всем им предпочитал скромный Мобюиссон.

Изабелла встретила трех своих невесток: Маргариту, Жанну и Бланку – с сияющим улыбкой лицом и отвечала самым любезным тоном на их приветственные слова.

Пужинали быстро. И сразу же после ужина Изабелла заперлась с отцом в его кабинете, дабы совершить жестокое, но необходимое деяние, которое она определила себе. Король Филипп смотрел на нее тем ледяным взглядом, которым он смотрел на всех живых существ, будь то даже его собственные дети. Он ждал, чтобы она заговорила первая, а она не смела начать разговор. «Какой же удар я ему сейчас нанесу», – думала она. И внезапно присутствие отца, вид этого парка, этих деревьев, вся эта насторожившаяся тишина, вдруг нахлынувшая на нее, вернули Изабеллу к полузабытым годам детства, и горькая жалость к самой себе стеснила ей грудь.

– Отец, – начала она, – отец, я очень несчастлива. Ах, какой далекой кажется мне Франция с тех пор, как я живу в Англии! И как я сожалею о минувших днях!

Изабелла замолкла, она старалась одолеть неожиданно подкравшегося врага – непрошеные слезы.

Наступило молчание, его прервал Филипп Красивый. Тихо, но по-прежнему ледяным тоном он спросил дочь:

– Неужели, Изабелла, вы предприняли столь длительное путешествие лишь затем, чтобы сообщить мне об этом?

– Кому же, как не моему отцу, могу я сказать о том, что жизнь моя несчастлива? – возразила Изабелла.

Король посмотрел на блестящие квадратики оконных стекол, к которым прильнул мрак, затем медленно перевел взгляд на свечи, на огонь.

– Несчастлива... – задумчиво повторил он. – Разве существует иное счастье, дочь моя, кроме сознания, что мы отвечаем уделу своему? Разве счастье не в том, чтобы научиться неизменно отвечать «да» Господу... и часто отвечать «нет» людям?

Отец и дочь сидели напротив друг друга в высоких дубовых креслах без мягких подушек.

– Вы правы, я королева, – ответила вполголоса Изабелла. – Но кто же там обращается со мной, как подобает обращаться с королевой?

– Разве вас там обижают?

Король задал этот вопрос обычным тоном, он даже не удивился словам дочери. Слишком хорошо он понимал, какой воспоследует ответ.

– Разве вы не знаете, кого выбрали мне в мужа? – воскликнула, не сдержавшись, Изабелла. – Разве муж покидает с первого же дня супружеское ложе? И не знаете, что в ответ на все мои заботы, на все знаки уважения с моей стороны, на все мои улыбки он не отвечает ни слова? Что он бежит от меня, словно я зачумленная, и что, лишив меня своей милости, он обращает ее даже не на фавориток, а на мужчин, отец, да-да, на мужчин?

Уже давным-давно Филипп Красивый знал то, о чем говорила дочь, и уже давным-давно у него был готов ответ на ее сетования.

– Ведь я выдал вас замуж отнюдь не за мужчину, а за короля, – наставительно произнес он. – Я не принес вас в жертву по ошибке или неведению. Неужели приходится напоминать вам, Изабелла, чем мы обязаны жертвовать ради своего положения и что мы рождены не для того, чтобы поддаваться своим личным горестям? Мы не живем своей собственной жизнью, мы живем жизнью нашего королевства и только в этом можем обрести удовлетворение, при условии, конечно, что мы достойны нашего высокого удела.

При последних словах Филипп нагнулся к дочери, и в тусклом пламени свечей резче проступили на его лице тени, придавая ему сходство со скульптурным изображением. Еще ярче обозначилась его красота, и Изабелла узнала обычное отцовское выражение – упорное стремление побеждать свои страсти и гордость одержанной над страстями победы.

И это выражение, и эта торжествующая красота больше, чем отцовские увещания, помогли Изабелле одолеть свою слабость. «Никогда, никогда, – думала она, – я не могла бы полюбить мужчину, если бы он не походил на него, и никогда не полюблю, никогда не буду любима, ибо нет такого другого, как он».

А вслух она произнесла:

– Я весьма рада, что вы напомнили мне мой долг. Конечно, я приехала во Францию не для того, чтобы плакаться, отец. Я рада, что вы заговорили о том уважении, которое должны питать к самим себе особы королевского рода, и что личное счастье для них ничто. Но мне бы хотелось, чтобы так думали и все остальные, окружающие вас.

– Зачем вы приехали сюда?

Изабелла с трудом перевела дыхание.

– Я приехала сюда потому, что мои братья взяли себе в жены развратниц, потому, что мне это стало известно и что, когда дело идет о защите нашей чести, я столь же непреклонна, как и вы, отец.

Филипп Красивый вздохнул.

– Я знаю, вы недолюбливаете ваших невесток. Но причина вашей неприязни, отдаляющая вас от них...

– Меня отдаляет от них то, что отдаляет всякую порядочную женщину от публичной девки! – холодно произнесла Изабелла. – Позвольте, отец, сказать вам правду, которую от вас скрывали. Выслушайте меня, ибо я утверждаю это не голословно. Знаете ли вы молодого мессира Готье д’Онэ?

– Есть два брата д’Онэ, я их часто путаю. Их отец проделал со мной фландрскую кампанию. А этот Готье, о котором вы говорите, женат, если не ошибаюсь, на Агнессе де Монморанси и состоит при моем сыне в качестве конюшего...

– Он состоит также при вашей невестке Бланке, правда в несколько иной роли. А его младший брат Филипп, который живет во дворце моего дяди Валуа...

– Знаю, знаю, – перебил король.

Глубокая складка пересекла его лоб – это было так удивительно, что Изабелла даже замолчала.

– Так вот, – продолжала она, – младший состоит при Маргарите, которую вы прочите в королевы Франции. Что касается Жанны, то никто не может назвать имени ее любовника, но, конечно, лишь потому, что она более умело, чем те, прячет концы в воду. Однако известно, что она поощряет забавы своей сестры и своей невестки, покровительствует их свиданиям с кавалерами, происходящим в Нельской башне, – словом, отлично справляется с тем ремеслом, которое имеет вполне определенное название... И знайте, что об этом говорит весь двор и только вам ничего не известно.

Филипп Красивый предостерегающим жестом поднял руку:

– А доказательства, Изабелла?

Тогда Изабелла поведала отцу историю с золотыми кошельками.

– Можете полюбоваться ими на братьях д’Онэ. Я видела их собственными глазами по пути сюда. Это все, что я собиралась вам сообщить.

Филипп Красивый взглянул на дочь. Ему показалось, что она на его глазах вдруг изменилась, изменилась ее душа, даже лицо и то изменилось. Она выносила обвинительный приговор не колеблясь, без женской слабости, и сидела перед ним в кресле выпрямившись, плотно сжав губы; глаза ее холодно блестели, но в глубине их горела нестигаемая воля. И говорила она не из низменных мотивов, не из ревности, а побуждаемая справедливостью. Она была его дочь – дочь, достойная своего отца.

Король молча поднялся с места. Он подошел к окну, глубокая продольная складка по-прежнему пересекала его лоб.

Изабелла не шевелилась, она ждала, как обернется начатое ею дело, ждала новых вопросов отца и готовилась дать ему исчерпывающие объяснения.

– Пойдемте, – вдруг сказал король. – Пойдемте к ним.

Он открыл дверь, ведущую в длинный темный коридор, в конце которого находилась еще дверь; налетевший ветер раздувал и откидывал назад полы их широких мантий.

Покои трех королевских невесток помещались в другом крыле замка Мобюиссон. Из башни, где находился кабинет короля, на женскую половину попадали по крытой дозорной галерее. У каждой бойницы дежурил стражник. Под шквальными порывами ветра жалобно стонала черепица. Снизу от земли поднимался влажный запах.

Все так же молча король с дочерью прошли галереей. Под их ровным шагом звенели каменные плиты, и через каждые десять туазов навстречу им поднимался лучник.

Очутившись перед дверью покоев, занимаемых принцессами, Филипп Красивый остановился. Он прислушался. Из-за двери доносился беспечный хохот и радостные возгласы. Король взглянул на Изабеллу.

– Так надо, – произнес он.

Изабелла, не отвечая, утвердительно наклонила голову, и Филипп Красивый рывком распахнул дверь. Маргарита, Жанна и Бланка дружно вскрикнули, веселый смех затих в мгновение ока.

Принцессы возились с театром марионеток и с увлечением разыгрывали пьеску, которую как-то в Венсенне, к их великому удовольствию, представил бродячий лицедей, но имел несчастье не угодить королю.

Марионетки изображали самых важных особ королевского двора. Декорация представляла опочивальню Филиппа Красивого, а сам он спал на постели, покрытой расшитым золотом одеялом. Его высочество Валуа стучится в двери и требует, чтобы его пустили поговорить с братом. Камергер Юг де Бувилль отвечает, что король, мол, не может его принять и что вообще с ним запрещено разговаривать. Его высочество Валуа в гневе удаляется. Вслед за тем в дверь стучатся марионетки, изображающие Людовика Наваррского и его брата Карла. Бувилль дает королевским сыновьям тот же ответ. Наконец, предшествуемый тремя приставами с дубинками в руках, является Ангерран де Мариньи; перед ним тотчас же распахиваются двери со словами: «Соблаговолите войти. Король давно желает побеседовать с вами».

Эта сатира на дворцовые нравы сильно разгневала Филиппа Красивого, и он запретил показывать ее на сцене. Но три молоденькие принцессы презрели королевский приказ и втихомолку разыгрывали пьеску: они получали двойное удовольствие – и от самого представления, и оттого, что оно под запретом.

Каждый раз они меняли текст, вставляли новые шутки, придумывали новые сценки, особенно когда на подмостки выходили марионетки, изображавшие их собственных супругов.

Когда на пороге появились король и Изабелла, принцессы смущенно потупились, как напавшие школьницы. Маргарита поспешно схватила небрежно брошенную на кресле накидку и набросила ее на свои точеные плечи и грудь, открытые чересчур декольтированным платьем. Бланка старалась привести в порядок свои кудряшки, которые растрепались от слишком усердного исполнения роли разгневанного дядюшки Валуа.

Жанна, которая лучше сестер умела владеть собой, заговорила первая:

– Мы уже кончили, государь, мы как раз кончили, государь, уверяю вас, вы не услышали бы ни одного слова, которое могло бы оскорбить ваш слух. Мы сейчас все уберем.

И, хлопнув в ладоши, она крикнула:

– Эй, Бомон, Комменж, кто там есть...

– Совершенно незачем звать ваших придворных дам, – коротко сказал король.

Он даже не взглянул на марионеток, он глядел на них, на трех своих невесток. Восемнадцать лет, двадцать с половиной, двадцать один год; все три – красавицы, каждая в своем роде. На его глазах росли и хорошели девчушки, которых в возрасте двенадцати-тринадцати лет привезли в Париж, чтобы выдать замуж за его сыновей. Но, по всей видимости, ума у них не прибавилось. До сих пор играют, как непослушные девчонки, какими-то марионетками. Неужели Изабелла сказала правду? Как могло столько женского лукавства гнездиться в этих существах, которых он до сих пор считал чуть ли не детьми? «Должно быть, – подумалось ему, – я ничего не понимаю в женщинах».

– Где ваши мужья? – спросил он.

– В фехтовальном зале, государь, – ответила Жанна.

– Как видите, я явился к вам не один, – продолжал король. – Вы часто жаловались, что ваша золовка вас не любит. И однако ж, мне сообщили, что каждой из вас она преподнесла по прелестному подарку...

Изабелла заметила, как внезапно потух блеск оживления в глазах Маргариты и Бланки, будто кто-то задул свечу.

– Не угодно ли вам, – медленно произнес Филипп Красивый, – показать мне те кошель, которые вы получили из Англии.

Молчание, воспоследовавшее за этими словами, разделило мир на две неравные части: на одной его стороне находились Филипп Красивый, Изабелла, весь двор, бароны, оба королевства; а другая на глазах у всех становилась в эту минуту непереносимо страшным кошмаром, и там остались три молоденькие невестки Железного короля.

– Ну что же! – сказал король. – Что означает это молчание?

Он не спускал с них пристального взгляда своих огромных глаз, на которые никогда не опускались веки.

– Я оставила свой кошель в Париже, – нашлась наконец Жанна.

– И я тоже, и мы тоже, – подхватили в один голос Маргарита и Бланка.

Филипп Красивый медленно направился к двери, выходившей в коридор, и в напряженной тишине был слышен только скрип половиц под его тяжелыми шагами. Три молодые женщины, полумертвые от страха, следили за каждым его движением.

Никто даже не взглянул на Изабеллу. Она стояла немного в стороне, за камином, и, прислонившись к стене, прерывисто дышала.

Не оборачиваясь, король произнес:

– Раз вы оставили ваши кошель в Париже, мы попросим братьев д'Онэ съездить за ними и привезти немедленно сюда.

Открыв дверь, король кликнул стража и велел ему тотчас же привести обоих конюших.

Бланка не выдержала. Она бессильно опустилась на низенький табурет, лицо ее побледнело, сердце замерло, головка склонилась набок: казалось, она сейчас упадет без сознания. Жанна схватила сестру за плечи и с силой встряхнула, чтобы привести в чувство.

Смуглыми пальчиками Маргарита машинально крутила шею марионетки, изображающей Мариньи, которой она с таким увлечением играла всего пять минут назад.

Изабелла не тронулась с места. Она чувствовала на себе взгляд Маргариты и Жанны – взгляд, исполненный жгучей ненависти к презренной предательнице, и вдруг ее охватила безмерная усталость. «Нет-нет, отступать поздно», – подумала она.

В комнату вошли братья д'Онэ, они вихрем примчались, они даже столкнулись в дверях, так как каждый непременно хотел войти первым и поскорее услужить королю, быть отмеченным королем.

По-прежнему стоя у стены, Изабелла протянула вперед руку и произнесла всего несколько слов:

– Эти рыцари, должно быть, угадали ваши мысли, батюшка, поскольку принесли мои кошель: посмотрите, они у них на поясе.

Филипп Красивый повернулся к своим невесткам:

– Не можете ли вы объяснить мне, каким образом к этим конюшим попали подарки, которые вам поднесла ваша золовка?

Никто не ответил.

Филипп д'Онэ удивленно взглянул на Изабеллу. Так смотрит побитая собака, не понимая, за что наказывает ее хозяин, потом медленно перевел глаза на старшего брата, как бы прося у него поддержки. Но Готье стоял с полуоткрытым от ужаса ртом.

– Стража! – крикнул король.

От звуков его голоса ледяная дрожь прошла по спинам всех присутствующих, и голос этот, ни на что не похожий, страшный голос, заполнил все закоулки замка и ночной мрак, притаившийся за окном. Вот уже ровно десять лет, со дня битвы при Мон-ан-Певель, когда Филипп IV скликал свои войска и сумел добыть победу, никто ни разу не слышал его крика, никто не мог даже представить мощь королевской глотки. Впрочем, он тут же перешел на обычный тон.

– Лучники! Позовите немедленно вашего капитана, – приказал он сбежавшейся страже.

По коридору раздался гулкий топот бросившихся на поиски капитана людей, и через минуту на пороге показался мессир Ален де Парей: он не успел надеть шлем и прилаживал на ходу свой меч.

– Мессир Ален, – обратился к нему король, – арестуйте двух этих людей. В темницу их и в оковы. Им предстоит ответить перед моим судом за свое вероломство.

Филипп д'Онэ сделал было шаг вперед.

– Государь, – пробормотал он, – государь...

– Довольно, – прервал его Филипп Красивый. – Отныне вам придется разговаривать с мессиром Ногаре... Мессир Ален, – продолжал он, обращаясь к капитану, – принцессы будут находиться здесь под стражей вплоть до особого распоряжения; выставьте у их дверей караул. Любому, будь то их прислужницы, родные, даже их мужья, входить в эту комнату запрещается, равно как и разговаривать с ними. За это отвечаете вы.

Ален де Парей даже бровью не повел, выслушав этот столь необычный приказ. Человека, который собственноручно арестовал Великого магистра ордена тамплиеров, уже ничто не могло удивить. Королевская воля была единственным его законом.

– Пойдемте, мессир, – обратился он к братьям д'Онэ, указывая на двери.

И он вполголоса отдал своим лучникам какое-то приказание во исполнение королевской воли.

Спускаясь по лестнице, Готье шепнул на ухо Филиппу:

– Помолимся, брат, все кончено...

И шаги их, заглушаемые топотом стражников, затихли в коридоре.

Маргарита и Бланка прислушивались к этим затихающим вдали шагам. Это уходила навеки их любовь, их честь, их счастье, уходила сама жизнь. Присмирившая Жанна напряженно думала, удастся ли ей когда-нибудь оправдать себя в глазах мужа. Вдруг Маргарита резким движением бросила в пылающий огонь марионетку, которую она вертела в руках.

Бланка снова чуть не лишилась сознания.

– Иди, Изабелла, – сказал король.

Отец и дочь вышли. Королева Англии победила; но она чувствовала безмерную усталость, и страшное волнение охватило ее, когда она услышала это «иди, Изабелла». Впервые за долгие годы отец обратился к ней на «ты», как тогда, когда она была еще совсем крошкой.

Молча шагала она вслед за отцом по круговой галерее. Ветер с востока гнал по небу лохматые черные тучи. Филипп попрощался с Изабеллой у дверей своих покоев и, взяв в опочивальне серебряный подсвечник, пошел разыскивать сыновей. Его огромная тень, скользившая по стенам, шум его шагов будили стражников, дремавших в пустынных переходах замка. Сердце его сжималось. И он не чувствовал, как горячие капли воска падали на его руку.

Глава VIII. Маго, графиня Бургундская

Посреди ночи из ворот замка Мобюиссон выехали два всадника: один был Робер Артуа, а второй – его верный, его неразлучный Лорме, не то слуга, не то оруженосец, неизменный его спутник, его поверенный и надежный исполнитель всех замыслов своего господина.

С того самого дня, как Робер Артуа отличил его от всех прочих крестьян в поместье Конш и приблизил к своей особе, Лорме, как говорится, ни на шаг не отходил от хозяина. Было даже забавно смотреть, как этот низенький, коренастый, уже полуседой человечек хлопотал вокруг молодого великана, пекся о нем, как нянька, следовал за ним по пятам, старался уберечь от опасности. Коварство его было столь же велико и столь же полезно для Робера, как и его поистине безграничная преданность. Это он в ту роковую ночь, когда братья д'Онэ попались в ловушку, доставил их под видом лодочника к Нельской башне.

Занималась заря, когда наши всадники достигли ворот Парижа. Они пустили шагом своих лошадей, от которых уже валил пар. Лорме то и дело громко зевал. Хотя Лорме стукнуло все пятьдесят, он не хуже любого молодого конюшего переносил самые длительные переезды, но не переносил раннего вставания – не выспавшись, он впадал в мрачность.

На Гревской площади, как и обычно, уже толпился народ: каждое утро здесь собирался простой люд в надежде получить работу. В толпе сновали десятники, руководившие королевскими стройками, владельцы речных судов: они вербовали подмастерьев, грузчиков и рассыльных. Робер Артуа пересек площадь и въехал в улицу Моконсей, где проживала его тетушка Маго Артуа, графиня Бургундская.

– Видишь ли, Лорме, – пояснил великан, – я хочу, чтобы эта разжиревшая сука от меня первого узнала о своем несчастье. Вот и наступило лучшее утро в моей жизни, большего удовольствия я еще никогда не получал. Даже самое хорошенькое личико молодой, страстно влюбленной красотки не доставит мне такого наслаждения, как та богомерзкая рожа, которую непременно скорчит моя тетушка, когда услышит рассказ о том, что произошло в Мобюиссоне. Пусть едет в Понтуаэ, пусть своими руками готовит себе гибель, пусть ревет перед королем, пусть сдохнет от досады.

Лорме сладко зевнул.

– Сдохнет, ваша светлость, сдохнет, – пообещал он, – будьте покойны, вы уж постараетесь, чтобы сдохла.

Они подъехали к роскошному особняку, принадлежащему графам Артуа.

– И подумать только, что мой дед выстроил эти хоромы, и подумать только, что мне полагалось здесь жить! – продолжал Робер.

– Будете жить, ваша светлость, будете.

– А тебя я произведу в привратники и назначу тебе жалованье сто ливров в год.

– Спасибо, ваша светлость, спасибо, – ответил Лорме таким тоном, будто уже стоял в богатой ливрее, исполняя свои обязанности, и будто сто золотых уже лежали у него в кармане.

Робер Артуа соскочил со своего першерона, бросил поводья Лорме и, схватив деревянный молоток, принялся стучать в дверь, которая затрещала под градом ударов.

Грохот потряс весь дом сверху донизу. Створка двери приоткрылась, и на пороге показался страж достаточно крепкого телосложения и с внушительной дубинкой в руках, одного удара которой было достаточно, чтобы уложить на месте быка. Сон мигом соскочил с него.

– Кто таков? – спросил он, возмущенный нахальством гостя.

Робер Артуа, не отвечая, оттолкнул слугу и вошел в дом. В коридорах и на лестнице царил оживление: с десятков слуг и служанок убирали барские покои, мыли полы, вытирали пыль. При виде незваного гостя у многих вытянулись лица. Но Робер, не обращая ни на кого внимания, расталкивая челядь своей тетушки, поднялся во второй этаж, где были расположены покои графини Маго, и так зычно крикнул «эй», что целый табун лошадей взвился бы от страха на дыбы.

На крик выскочил перепуганный слуга с ведром в руке.

– Где тетушка, Пикар? Мне необходимо немедленно видеть тетушку.

Пикар, малый с приплюснутым черепом, покрытым реденькими волосами, поставил на пол ведро и ответил:

– Они завтракают, ваша светлость!

– Пусть завтракает! Мне-то что за дело! Предупреди ее о моем приезде, да поживее!

Поспешно придав своей физиономии удрученное и испуганное выражение и скорбно скривив рот, Робер Артуа последовал за слугой в опочивальню графини Маго; под его тяжестью дрожали половицы.

Графиня Маго Артуа, правительница Бургундии, носившая титул пэра Франции, была могучая дама лет сорока, ширококостная, с массивной фигурой и крутыми бедрами. Ее некогда

прекрасное лицо, превратившееся теперь в бесформенную, заплывшую жиром маску, сияло спокойной и горделивой уверенностью. Лоб у нее был высокий, выпуклый, волосы темные, почти без седины, над верхней губой чернели заметные усики, подбородок был слишком тяжелый, а губы слишком яркие.

Все в этой женщине: черты лица, руки, ноги, равно как вспышки гнева, страсть к стяжательству, любовь к власти – было непомерно огромно. С энергией опытного военачальника и упорством прожженного крючкотвора она переезжала из Артуа в Бургундию, посещала свой двор в Аррасе, а затем свой двор в Доле, зорко следила за управлением двух своих графств, требовала полного повиновения от своих вассалов, не мучила людей понапрасну, но, обнаружив врага, разила его беспощадно.

Двенадцать лет борьбы с собственным племянником позволили ей достаточно хорошо изучить его повадки. Всякий раз, когда возникали какие-нибудь затруднения, всякий раз, когда подымали голову вассалы графства Артуа, всякий раз, когда в каком-нибудь городе выражалось недовольство по поводу налогов, она знала, что тут надо искать руку Робера.

«Это же настоящий волк, жестокий и вероломный, – говорила она, когда речь заходила о ее племяннике. – Но слава богу, у меня голова покрепче, и рано или поздно его погубят собственные козни».

Тетушка и племянник годами не разговаривали и встречались лишь на королевских приемах.

Сейчас она сидела перед маленьким столиком, придвинутым вплотную к постели, и, аккуратно отрезая кусок за куском, лакомила заячьим паштетом, которым обычно начинался ее утренний завтрак.

Подобно тому как племянник старался придать себе расстроенный и взволнованный вид, так и тетушка при виде его сделала спокойную и равнодушную мину.

– Вы, племянничек, как видно, подымаетесь до зари! – произнесла она обычным голосом, стараясь скрыть свое удивление. – И ворвались ко мне как буря! Что заставило вас так спешить?

– Тетушка, тетушка, – завопил Робер, – все пропало!

Графиня Маго все так же спокойно и неторопливо отхлебнула из кубка глоток артуазского вина ярко-рубинового цвета, которое выделялось в ее поместьях и которое она предпочитала к утреннему завтраку всем прочим напиткам, ибо, по ее словам, оно давало бодрость на целый день.

– Что у вас такое пропало, Робер? Проиграли еще одну тяжбу? – осведомилась она.

– Тетушка, клянусь вам, сейчас не время язвить друг друга. Несчастье, обрушившееся на нашу семью, слишком велико, теперь уж не до шуток.

– Что же произошло? Какое несчастье для вас может стать несчастьем для меня, и наоборот? – спросила она спокойным и циничным тоном.

– Тетушка, наша жизнь и честь в руках короля.

В глазах графини Маго промелькнуло беспокойство. Но она молчала, размышляя, какую еще ловушку расставил ей племянничек и что означает это вступление.

Жестом, вошедшим у нее в привычку, она засучила рукава до локтей. Потом хлопнула ладонью по столу и позвала:

– Тьерри!

– Тетушка, я не могу говорить при посторонних, мы должны побеседовать наедине, – воскликнул Робер. – То, что я вам скажу, затрагивает честь всей нашей семьи.

– Ерунда, ты прекрасно можешь говорить при моем канцлере.

Тетушка просто не доверяла племяннику и хотела на всякий случай запастись свидетелем.

С минуту они молча глядели друг на друга: она с преувеличенным вниманием, а он – внутренне наслаждаясь разыгрываемой комедией. «Зови хоть всех своих людей, – думал Робер. – Зови, пусть послушают».

Странное зрелище представляли два этих существа, которые зорко следили друг за другом, оценивали каждый возможности противника, мерились силами; природа наделила их множеством общих черт, и, словно два быка одной породы, они были удивительно похожи и яростно ненавидели один другого.

Дверь распахнулась, и в опочивальню графини вплыл Тьерри д'Ирсон. Бывший капитульный настоятель Аррасского собора, ныне канцлер графини Маго, управитель графства Артуа и, как утверждали, любовник графини был невысок ростом, пухл, круглолиц, с острым и неестественно белым носом; он производил впечатление человека самоуверенного и властного. Во взоре его горела жестокость, а безгубый рот складывался в улыбку. Он верил только в хитрость, ум и настойчивость.

Поклонившись Роберу Артуа, он произнес:

– Вы у нас редкий гость, ваша светлость.

– Мой племянник уверяет, что явился сообщить нам о какой-то огромной беде, – пояснила Маго.

– Увы! – вздохнул Робер, бессильно опустившись в кресло.

Он выжидал; Маго уже явно стала терять терпение.

– У нас с вами, тетушка, не раз выходили недоразумения, – начал наконец Робер.

– Хуже, племянник, пренеприятнейшие ссоры, и оканчивались они обычно плохо для вас.

– Верно, верно, и, Бог свидетель, я желал вам всяческих бед.

Робер и сейчас прибег к излюбленному своему приему – грубоватая, но не оставляющая сомнений искренность, откровенное признание дурных своих умыслов: так ему удавалось скрывать удар, которым он готовился поразить противника.

– Но такого несчастья я вам никогда не желал, – продолжал он. – Ибо, как вам известно, я настоящий рыцарь и строг в отношении всего, что касается нашей чести.

– Да в чем же дело, в конце концов? Говори же, – не сдержавшись, крикнула Маго.

– Ваши дочери и мои кузины уличены в прелюбодеянии и арестованы по приказу короля, равно как и Маргарита.

Маго не сразу осознала всю силу нанесенного ей удара. Она и впрямь не поверила Роберу.

– От кого ты слышал эту басню?

– Ни от кого, тетушка, я сам узнал, и весь двор тоже знает. Произошло это еще вчера вечером.

Робер испытывал истинное наслаждение, терзая свою толстуху-тетку, поджаривая ее на медленном огне; взвешивая каждое слово, он рассказал ровно столько, сколько хотел рассказать о том, как весь Мобюиссон был разбужен гневным криком короля.

– А они признались? – спросил Тьерри д'Ирсон.

– Не знаю, – ответил Робер. – Но молодые д'Онэ, конечно, признаются, ибо в настоящий момент находятся в руках вашего друга Ногаре.

– Терпеть не могу Ногаре, – отозвалась графиня Маго. – Даже будь они невинны, как ангелы, из его рук они выйдут чернее ворона.

– Тетушка, – начал Робер, – темной ночью я проскакал десять лье от Понтуаза до Парижа, чтобы известить вас, ибо никто не подумал этого сделать. Неужели вы до сих пор считаете, что я действовал под влиянием дурных чувств?

Графиня Маго вскинула глаза на своего гиганта-племянника; душевное ее смятение и тревога были так велики, что она невольно подумала: «Возможно, что и он способен иногда на добрые порывы».

Потом хмуро спросила:

– Хочешь завтракать?

Услышав эту фразу, Робер понял, что удар нанесен, и нанесен метко.

Не заставляя себя долго просить, Робер схватил со стола холодного фазана, разорвал руками на две половинки и впился в него зубами. Вдруг он заметил, что его тетушка переменилась в лице. Сначала побагровела грудь, прикрытая горностаевой опушкой платья, затем краска залила шею, потом подбородок. Наконец кровь бросилась ей в лицо, покрыла пурпурными пятнами лоб. Графиня Маго поднесла руку к сердцу.

«Вот оно, – подумал Робер. – Сдыхает. Сейчас сдохнет».

Но он ошибся. Графиня быстро поднялась с постели, и одновременно раздался грохот. Заячьи паштеты, кубки и серебряные блюда, которые она резким движением смахнула со стола, звеня и подпрыгивая, покатались по полу.

– Потаскухи! – заревела она. – И это после всего, что я для них сделала, устроила им такие блестящие партии... Попались, как непотребные девки. Все загубили! Пусть их бросят в темницу, пусть сажают на кол, пусть вешают!

Бывший каноник даже бровью не повел. Он уже давно привык к гневным вспышкам своей покровительницы.

– Вот-вот, я тоже, тетушка, сразу об этом подумал, – пробурчал Робер с набитым ртом. – Так вас отблагодарить за все ваши заботы...

– Я немедленно должна ехать в Понтуаэ, – воскликнула Маго, не слушая племянника. – Должна их повидать и научить, что надо отвечать на допросах.

– Боюсь, что вам это не удастся, тетушка. Их держат взаперти и никого не пускают...

– Тогда я поговорю с королем. Беатриса! Беатриса! – закричала она, хлопнув в ладоши.

Откинув занавес, в комнату неторопливым шагом вошла девушка лет двадцати; она была просто восхитительна: высокая, черноволосая, длинноногая, с упругой грудью и крутыми бедрами. При первом же взгляде на красотку Робер Артуа так весь и загорелся.

– Беатриса, надеюсь, ты все слышала? – спросила Маго.

– Да, сударыня, – ответила девушка. – Я, как всегда, стояла у дверей.

Говорила Беатриса неестественно медленно, неестественно медленны были ее жесты, ее походка, даже веки она поднимала медленнее, чем все люди. От ее гибкого по-кошачьему тела веяло таким невозмутимым спокойствием, что, казалось, влети в окно молния, и тогда девушка не вздрогнет, не сотрет со своих губ ленивую усмешку. Однако из-под длинных черных ресниц блестели насмешливые глаза. Несчастье ближних, их тревоги, страшные драмы, калечащие их жизнь, только веселили ее.

– Это племянница Тьерри, – сказала Маго племяннику, указывая на Беатрису, – я назначила ее своей первой придворной дамой.

Беатриса д'Ирсон поглядела на Робера Артуа с простодушным бесстыдством. Ей явно хотелось узнать поближе этого великана, о котором она столько слышала в доме Маго, где его поносили как последнего негодая.

– Беатриса, – продолжала Маго, – вели подать мне носилки и запрячь шесть лошадей. Едем в Понтуаэ!

Но Беатриса по-прежнему не отрывала глаз от Робера, точно не слышала слов своей благодетельницы. В этой молодой красавице было что-то остро волнующее, что-то темное. При первом же взгляде между нею и любым мужчиной устанавливалось негласное сообщничество, и каждому казалось, что при любом его решительном шаге она немедленно уступит домогательствам. И в то же время каждый втайне спрашивал себя, уж не дурочка ли она или, может быть, просто втихомолку насмехается над людьми.

«Рано или поздно, – думал Робер, глядя, как Беатриса все той же неторопливой походкой удаляется из комнаты, – рано или поздно я ее заполучу, не знаю когда, но заполучу непременно».

От фазана не осталось даже косточки, ибо обглоданный костяк Робер бросил в камин. Ему захотелось пить. Но вина ему не принесли. Поэтому Робер из осторожности – еще отравят, с них станется, – взял с поставца кубок, из которого пила дражайшая тетушка, и допил оставшееся вино.

Графиня взволнованно шагала по спальне, машинальным жестом засучивая рукава и кусая губы.

– Сегодня я вас ни за что не оставлю одну, тетушка, – сказал Артуа. – Буду вас сопровождать. Это мой прямой долг как вашего племянника.

Маго вскинула на Робера глаза, в которых вспыхнуло прежнее недоверие. Потом вдруг решила и дружески протянула ему руку.

– Ты причинил мне много зла, Робер, и, уверена, причинишь еще немало. Но сегодня, должна признаться, ты вел себя молодцом.

Глава IX. Королевская кровь

В комнату, вернее, в узкий и длинный подвал, идущий под старым Понтуазским замком, где Ногаре вел допрос братьев д'Онэ, проникли первые проблески зари. В крохотные оконца, которые пришлось открыть, чтобы освежить спертый воздух, вползали клубы предутреннего тумана. Пропел петух, ему ответил второй, над самой землей пролетела стайка воробьев. Факел, прикрепленный к стене, трещал, и едкий чад смешивался с запахом измученных пыткой тел. Видя, что огонь вот-вот потухнет, Гийом де Ногаре коротко бросил, ни к кому не обращаясь:

– Факел!

Возле стены стояли два палача; один из них шагнул вперед и взял в углу запасной факел, затем сунул его концом в угли, на которых раскалялись докрасна ненужные теперь железные прутья. Зажженный факел он вставил в кольцо, вделанное в стену.

Палач вернулся на место и встал рядом со своим товарищем по ремеслу. Оба палача – «пытошники», как их называли в народе, – были похожи, будто близнецы: те же грубые черты, те же тупые физиономии; глаза у обоих покраснели от бессонной ночи и усталости. Их мускулистые, волосатые, забрызганные кровью руки бессильно свисали вдоль кожаных кольчуг. От обоих сильно несло потом.

Ногаре бросил на них быстрый взгляд, затем поднялся с табурета, на котором просидел не вставая все время, пока длился допрос, и прошелся по комнате; по серым каменным стенам пробежала, заколебалась тень, отброшенная его тощей, костлявой фигурой.

Из дальнего угла подвала доносилось тяжелое дыхание, прерываемое всхлипами: казалось, это стонет один человек. Окончив свою работу, палачи оставили несчастных лежать прямо на земле. Даже не спросив у Ногаре разрешения, они взяли плащи Филиппа и Готье и накинули их на бесчувственные тела, как бы желая скрыть от самих себя дело рук своих.

Ногаре нагнулся над братьями: их лица приобрели удивительное сходство. У обоих кожа, прочерченная дорожками слез, стала одинакового землистого оттенка, а волосы, слипшиеся от пота и крови, подчеркивали неровности черепа. Оба дрожали мелкой дрожью, стоны то и дело срывались с окровавленных губ, на которых отпечатались следы зубов.

На долю Готье и Филиппа д'Онэ выпало безоблачное детство, а на смену пришла столь же безоблачная юность. Смыслом жизни для них было выполнять любые свои желания, получать наслаждение, удовлетворять самые тщеславные притязания. Как и все сыновья старинных дворянских родов, они с малолетства были записаны в полк; до сего времени самым большим

их страданием были незначительные болезни или вымышленные муки. Еще вчера они принимали участие в королевском кортеже и не было для них неосуществимых надежд. Прошла всего одна ночь, и они потеряли человеческий облик, забитые, сломленные пыткой; если они могли бы еще желать, они пожелали бы небытия.

Ногаре выпрямился; ни одна черта в его лице не дрогнула. Чужие страдания, чужая кровь, оскорбления, которыми его осыпали враги, их отчаяние и их ненависть скользили по нему, не оставляя следа, как скатывается дождевая вода с гладкого камня. Своей легендарной жестокости, этой поразительной бесчувственности он был обязан тем, что стал верным исполнителем самых тайных замыслов короля, и надо сказать, что роль эта далась ему легко, далась без труда. Он стал таким, каким хотел стать: он чувствовал в себе призвание к тому, что полагал общественным благом, как призванием иного человека бывает любовь.

Призвание, склонность – так называют страсть, когда хотят ее облагородить. В железной, в свинцовой душе Ногаре таился тот же эгоизм, то же ненасытное желание, которое заставляет влюбленного жертвовать всем ради обожаемого существа. Ногаре жил в некоем вымышленном мире, где мерилom всего была государственная польза. Отдельные личности ничего не значили в его глазах, да и себе самому он не придавал никакого значения.

Через всю историю человечества проходит вечно возрождающееся племя таких вот фанатиков общего блага и писаного закона. Их логика граничит с бесчеловечностью, бездушием как в отношении других, так и в отношении самих себя; эти служители отвлеченных богов и абсолютных правил берут на себя роль палачей, ибо желают быть последними палачами. Но это лишь самообман, так как после их смерти мир перестает им повиноваться.

Пытая братьев д'Онэ, Ногаре верил, что действует так ради блага государства; и теперь он глядел на Готье и Филиппа, лица которых уже потеряли человеческие черты, и не видел в них людей; бессознательно он загородил от света эти искаженные мукой лица; для него они были лишь признаком неопорядка; он победил.

«Тамплиеры держались крепче», – подумал он только. А ведь сейчас в его распоряжении были лишь местные «пытошники», а не прославленные мастера заплочных дел парижской инквизиции.

Выпрямившись, он сморщил лицо, спина у него ныла, и поясница была как свинцом налита. «Холод какой», – буркнул он себе под нос. Ногаре приказал закрыть окна и приблизился к треножнику, где еще пылали раскаленные угли. Протянув к огню руку, он подождал, пока пальцы согреются, и, ворча, стал растирать больную поясницу.

Два палача, стоявшие у стены, казалось, дремали... Из угла комнаты, куда бросили бесчувственные тела братьев д'Онэ, доносились жалобные стенания, но Ногаре уже не слышал их.

Хорошенько согрев спину, он вернулся к столу и взял лежавший там пергамент. Потом, глубоко вздохнув, направился к дверям и вышел прочь.

Тотчас же после его ухода палачи приблизились к Готье и Филиппу и попытались поставить их на ноги. Но так как попытка не удалась, они подхватили на руки эти истерзанные ими самими тела и понесли их осторожно, как носят больных детей, в отведенную узникам темницу.

Старинный замок Понтуаэ, превращенный ныне в помещение для кордегардии и тюрьму, лежал всего в полумиле от королевской резиденции – от замка Мобюиссон. Мессир Ногаре прошел это расстояние пешком в сопровождении двух приставов из свиты прево и своего собственного писца, который нес пергаментный свиток и письменный прибор.

Ногаре шел быстрым шагом, плащ развевался вокруг его тощей длинной фигуры. Он с удовольствием вдыхал прохладный утренний воздух и влажные запахи соседнего леса.

Не отвечая на приветствия лучников, охранявших Мобюиссон, он пересек двор и вошел в замок, даже не оглянувшись на шушукающихся камергеров и придворных, которые с значительным видом, словно провели ночь у одра покойника, толпились в прихожей и коридо-

рах. Слуга поспешил распахнуть двери перед мессиром Ногаре, и хранитель печати очутился в покоях, где уже собралась королевская фамилия.

Сам король сидел за длинным столом, покрытым шелковой тканью. Лицо его казалось еще более холодным и застывшим, чем обычно. Под неподвижными глазами набрякли синеватые мешки, губы были плотно сжаты. По правую его руку восседала Изабелла, она держалась, по обыкновению, очень прямо и не шевелясь, как идол. Плоеный чепец венчала диадема изящной работы, а две золотые косы, уложенные у висков в виде ручек античной амфоры, еще больше подчеркивали суровое выражение ее лица. Это она была виновницей обрушившихся на королевский дом несчастий. В глазах присутствующих на ней лежала ответственность за развертывающуюся драму, и, ощутив те узы, которые самым странным образом роднят доносчика с виноватым, она чувствовала себя чуть ли не преступницей.

Сидевший по левую руку Филиппа Красивого его высочество Валуа нервно барабанил пальцами по столу и время от времени болезненно поводил шеей, будто воротник был ему тесен. Второй брат короля, его высочество Людовик д'Эврё, также присутствовал на семейном совете: он держался спокойно, его скромный костюм являл разительный контраст с ярким одеянием Карла Валуа.

И затем здесь были три королевских сына, три обманутых супруга, на которых свалилось несчастье и позор: старший, Людовик Наваррский, с лживыми глазами и впалой грудью, непрерывно ерзавший на стуле; средний, Филипп Пуатье, лицо которого, похожее в профиль на тонкую морду борзой, еще больше осунулось, еще больше вытянулось, так трудно ему было сохранять напускное спокойствие; и младший, Карл, чье прекрасное юношеское лицо выражало боль, причиненную первым в его жизни настоящим горем...

Один Ногаре даже не взглянул на них; Ногаре не желал никого видеть, кроме своего государя.

Он медленно развернул пергаментный свиток и по знаку Филиппа IV стал читать подлинную запись допроса. Голос его звучал так же ровно, как и тогда, когда он допрашивал Готье и Филиппа д'Онэ. Но сейчас, в этой холодной зале, освещенной тремя стрельчатыми окнами, голос его казался особенно грозным; сейчас испытанию подвергалась королевская фамилия. Запись была своего рода совершенством, ибо Ногаре любил хорошую работу. Конечно, оба брата д'Онэ, как и подобает людям благородным, поначалу все отвергали; но хранитель печати умел допрашивать так, что обвиняемый очень скоро забывал и угрызения совести, и все галантные соображения. Месяц, когда принцессы вступили в преступную связь, дни встреч любовников, ночи, проведенные в Нельской башне, имена слуг-сообщников – все, что для виновных означало страсть, любовный пыл и наслаждение, все было выставлено напоказ, обнажено, захватано чужими руками, втоптанно в грязь. А сколько посвященных в тайну людей, должно быть, хихикали сейчас по углам!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.